



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР
СПИСАННЫЙ

ЧАСТЬ I

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Илья Калинин

Виктор - Списанный

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор - Списанный / И. Калинин — «Автор», 2026

Окраина обитаемого космоса, поздний век корпораций: государств нет, планетами и людьми владеют компании, а воздух, вода и свет отпускаются по счётчику. Виктор Скорев, пятьдесят лет, пожизненный середняк, третий помощник пилота на ржавом мусоровозе, отслужил контракт и списан по возрасту — на планету-свалку, в клетушку девять метров, доживать на синтетической еде. И доживал бы, если бы в глухом рейсе их корабль не наткнулся в пустоте на дрейфующее мёртвое судно: экипаж убит, а анонимный счёт, где деньги переживают хозяев, — жив. Чудо-технологий не будет: ни оружия, ни машин будущего он этому миру не даст. Зато он умеет то, чего здесь не умеет почти никто, — видеть целое там, где другие видят лишь своё узкое, читать людей и оставаться невидимым. Власти он не хочет: ему нужен тихий сытый достаток и чтобы его не замечали. Но деньги мёртвых заметны, а по следу заметности идут те, кто эти деньги и сделал.

Содержание

Глава 1. Порог	5
Глава 2. Профит	10
Глава 3. Пустота	14
Глава 4. Недостача	18
Глава 5. Две планеты	22
Глава 6. Дамп	26
Глава 7. Пустая койка	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Илья Калинин

Виктор - Списанный

Глава 1. Порог

Воздух на нижнем уровне стоил дешевле воды, но пах хуже. Я знал это по утрам точнее любого прибора. Просыпался, делал первый вдох и по привкусу понимал, какой сегодня день. Металл, чужое дыхание, что-то кислое от старых рециркуляторов. Сегодня привкус был совсем дрянной. Значит, фильтры на этаже опять не меняли. Значит, гостиница экономила. Значит, и мне пора экономить сильнее, чем вчера.

Я лежал ещё с минуту, слушая, как першит в горле от этого воздуха, и считая, во что мне обойдётся день. Норма воды на сутки уместалась в две ладони. Воздух поштучно не считали, но за него вычитали из платы, и оттого всякий вдох здесь был не даром, а покупкой. Тело в пятьдесят лет просыпалось не сразу. Спина держала ночь плохо, колени с утра ныли на перемену давления, а правое плечо, которое я когда-то надорвал на погрузке, напоминало о себе первым, раньше головы. Я знал это тело, как знают старый инструмент. Оно ещё работало, но каждый его сустав теперь стоил дороже, чем приносил, и я понимал это так же трезво, как понимал цену всему остальному.

Комната была два шага на три. Койка, откидной столик, узкий шкаф, в котором помещался один комплект приличной одежды, и всё. Окна не полагалось. Окна на этой планете вообще были роскошью верхних уровней, потому что смотреть в них было не на что. Снаружи лежала мёртвая порода без атмосферы, чёрное небо и режущее солнце, от которого приходилось прятаться под тысячи тонн камня и бетона. Люди здесь жили, как черви в яблоке. Чем ты нужнее, тем ближе к коже, к настоящему свету и настоящему простору. Я жил у самого огрызка.

Планета называлась Кобальт, но так её звали только в реестрах. Внизу её звали Даунсайдом. Когда-то здесь что-то добывали, потом выработали, а когда порода кончилась, планету не бросили. Её приспособили под то, что всегда нужно и всегда есть в избытке. Под людей, которые больше ничего не стоят, и под мусор, который эти люди производят и разбирают. Даунсайд был свалкой в широком смысле слова. Сюда свозили и то, и другое.

Я умылся четвертью нормы воды, надел приличную одежду и посмотрел на себя в мутное зеркало над раковиной. Пятьдесят лет. Лицо ещё держалось, но глаза уже выдавали. Не усталость даже, а то, что идёт после усталости, когда человек перестаёт ждать. Я заставил себя выпрямить спину. Сегодня был последний день, когда мой возраст ещё что-то значил. Завтра мне исполнялось пятьдесят один, а после пятидесяти на контракт не брали никого. Таков был порог. Ниже порога ты ещё актив. Выше — расход.

Я вышел в коридор, где под потолком гудела вентиляция и мигала половина ламп, и пошёл наниматься на работу в последний раз в жизни.

Чтобы понять Даунсайд, надо было понять, кто им владеет, а владели всем корпорации. Не эта планета, не эта система, а всё. Государств не осталось. Я застал в детстве самый хвост того времени, когда ещё говорили про страны, про законы, про выборы, но это были слова из старых записей, вроде слов про магию или про богов. Корпорации не завоёвывали мир войной. Они просто сделали так, что без них нельзя было ни дышать, ни есть, ни лететь. Кто владеет воздухом, тому не нужна армия. Он владеет тобой по факту каждого твоего вдоха.

На Даунсайте владела Меридиан. Огромная, старая, скучная контора, которой принадлежали и порода, и рециркуляторы, и вода, и гостиница, где я снимал койку, и биржа труда, куда я шёл. Меридиан не была злой. Злоба требует внимания, а корпорации внимания не тра-

тили. Она была равнодушной, как весы. Ты либо приносил больше, чем стоил, либо нет. Всё остальное было сентиментальностью, за которую тут не платили.

Человек в этой системе назывался активом, пока работал, и расходом, когда переставал. Между этими двумя словами не было ничего. Ни пенсии, ни родины, ни того, к кому можно было бы прийти. Были уровни. Наверху, ближе к свету, жили те, кто управлял активами. Ниже — активы. В самом низу, где жил я, дотягивали свой срок бывшие активы, которых ещё не списали окончательно, но уже не собирались продлевать. Мы были мусором, который пока сам себя разбирает и сам себя кормит, чтобы не возиться. Меридиан это устраивало. Мёртвый мусор надо утилизировать, а живой утилизирует себя сам.

Биржа труда занимала три этажа над транспортным узлом. Я приходил сюда каждый день вторую неделю и знал уже всё наизусть. Очередь, сканер на входе, который считывал не лицо, а возраст, потому что возраст был важнее лица. Табло с вакансиями, где против каждой строки стоял предел. До сорока. До сорока пяти. Изредка до пятидесяти, и на эти строки я и шёл, зная, что завтра они закроются для меня навсегда.

В очереди пахло тем же, чем и везде внизу, немытым теплом чужих тел и остывшим синтетическим паром из автомата, где за монету наливали бурду, называемую кофе. Люди стояли молча, каждый со своим чипом в кулаке, и каждый косился на сканер над дверью так, как косятся на весы, зная заранее, что перевесит не в их сторону. Сканер был тут главным человеком. Он один решал, кто войдёт дальше, а кто развернётся, и решал по одной цифре, не спрашивая ни имени, ни того, что ты умеешь. Чем ниже опускаешься, тем меньше в тебе спрашивают лицо и тем больше — цифру.

Впереди меня двое переговаривались о своём. Один жаловался, что паёк опять срезали на четверть, а вода со вчерашнего дня отдаёт ржавчиной. Другой отвечал, что на седьмом уровне поставили новые фильтры и вода там чистая. Первый сказал, что до седьмого уровня ещё дожить надо, и оба замолчали. Это был обычный разговор дна, где жалуются на воду и на воздух, потому что больше пожаловаться не на что, а молчать целый день человек не может.

В первом окне сидела молодая женщина с гладким лицом человека, который дышит хорошим воздухом. Она взяла мой чип, провела над ним рукой, и я увидел, как на её экране загорелась цифра. Пятьдесят.

— Погрузка на орбитальном терминале, — сказал я. — Я работал грузчиком, работал в доке, знаю оснастку, знаю учёт. Могу на любой участок.

— Возрастной предел сорок пять, — сказала она, не глядя на меня. — Система не пропустит.

— Там написано, что нужен человек с опытом.

— Нужен человек с опытом до сорока пяти. — Она вернула мне чип. — Следующий.

Я не стал спорить. Спорить с окном было всё равно что спорить с воздухом. Окно не решало. Окно озвучивало решение, которое приняли за много лет до нас обоих, приняли раз и навсегда, зашили в систему, и теперь оно исполнялось само, без злобы и без исключений. Я отошёл, пропустил парня лет двадцати пяти, который занял моё место у окна, и посмотрел на табло ещё раз.

Так прошло утро. Второе окно, третье. Ремонт рециркуляторов — до сорока. Оператор шлюза — до сорока пяти. Уборка технических уровней, работа, от которой у людей за пять лет выгорали лёгкие, и то до сорока восьми, потому что дольше сорока восьми на этой работе всё равно никто не жил. Каждый раз сканер читал мою цифру раньше, чем я успевал открыть рот, и каждый раз лицо за окном делалось таким, каким делается лицо человека, глядящего на мебель, которую пора выносить.

Я не злился. Я давно научился не злиться на то, чего нельзя сдвинуть. Это была не жестокость. Жестокость личная, а тут не было ничего личного. Просто арифметика. Молодой актив дешевле, служит дольше, ломается позже. Я был старой деталью, которую не имело смысла

ставить в машину. Я это понимал лучше, чем они, потому что всю жизнь имел дело с деталями, с грузом, с бумагами, с людьми, и всегда видел, что где чего стоит. Беда была в том, что теперь этой деталью был я сам.

Однажды, давно, у меня был случай подняться выше той строки, где меня поставили. Мне было чуть за тридцать, я работал в приёмном доке одной из ближних систем, и там опись не сошлась с грузом на десяток контейнеров. Я заметил это, как замечал всегда, по старой привычке считать всё, что проходит через руки. Старший над сменой, человек ненамного меня старше, отвёл меня в сторону и сказал прямо. Молчи, а лучше подпиши, что всё сошлось, и я поставлю тебя над людьми. Я не подписал. Не из гордости и не из честности, честностью на дне никого не удивишь. Просто я видел дальше той бумаги и понимал, что человек, подмахнувший чужую недостачу, однажды сам станет недостачей, которую тихо спишут вместе с его подписью. Я оказался прав. Того старшего через год списали, без шума, вместе со всеми бумагами, что он подписал. Но и меня над людьми не поставили. Я остался третьим. Так я узнал одну вещь, которую потом видел много раз. Видеть целое неудобно тем, кто наверху, потому что целое всегда упирается в них. За узость платят. За широту — нет. Широкого держат в стороне, чтобы не смотрел, куда не надо.

К полудню приличная одежда пропотела насквозь, а список вакансий, доступных человеку старше пятидесяти, сократился до одной строки. Она висела в самом низу табло, там, куда обычно не смотрят, набранная тем блёклым шрифтом, каким пишут то, что предлагать стыдно. Дальний рейд. Утилизация. Возрастной предел не указан.

Не указан. Это значило только одно. Это значило, что на эту работу не хватало даже тех, кого больше никуда не брали.

Контора называлась Аутбаунд и сидела не на бирже, а за ней, в закутке транспортного узла, куда вёл коридор с погасшими лампами. Я прошёл его насквозь. Лампы тут не мигали, а просто не горели, и темнота стояла густая, как в неубранном отсеке, куда давно никто не заглядывал, потому что там нечего беречь. В конце коридора под единственной живой лампой была дверь без таблички. Я толкнул её и оказался в тесной комнате, где пахло горелой проводкой и остывшим синтетическим кофе. За столом сидел человек с таким же серым лицом, как у меня, только моложе и злее. Он поднял на меня глаза, оценил возраст, одежду, потную рубашку, и не отвернулся. Впервые за две недели человек за столом не отвернулся от меня сразу.

— Пятьдесят? — спросил он.

— Завтра пятьдесят один.

Он усмехнулся, коротко, без веселья.

— Успел. Через день не взял бы даже я. Садись.

Я сел. Стул подо мной качнулся. В этой комнате всё было списанное. Стол, стул, человек, работа. И я.

— Вozить будешь мусор, — сказал он и сразу выложил всё, как выкладывают то, что стыдно продавать, но продать надо. — Корабль старый. Профит. Название придумал не я, так что не смейся. Ходит на Дамп, дальняя окраинная система, полгода туда, полгода обратно, если ничего не отвалится. Берём отходы верхних систем и свозим их за край, где никто не видит. Ты третьим помощником пилота. Не потому, что ты пилот, а потому, что в судовой роли должна стоять эта строка, а кто её займёт, всем всё равно. Спать будешь в трюме. Есть будешь то же, что ешь тут. Платят мало, вычитают за воздух, за воду, за место. Контракт три года. Первый рейс не окупает даже дорогу назад, так что раньше трёх лет ты не вернёшься при всём желании.

Он перевёл дух и посмотрел на меня прямо.

— И вот тебе честно, потому что врать долго — себе дороже. С Профита возвращаются не все. Не потому, что там убивают. Просто дальний рейд, старое железо, дрянная система, и никто наверху не считает, сколько нас улетело и сколько прилетело обратно. Мы для них строка в накладной. Груз номер такой-то, экипаж столько-то единиц. Единиц, понимаешь. Не людей.

Я понимал. Я понимал это лучше, чем он думал, потому что вся моя жизнь была строкой в чужой накладной. Всегда третий, всегда средний, всегда тот, кого вписывают, чтобы заполнить графу, и вычёркивают, когда графа больше не нужна. Я никогда ничего не заработал не потому, что не умел, а потому, что нигде не поднялся выше той строки, где меня поставили в первый день. Теперь мне предлагали последнюю такую строку в моей жизни, и особенность её была в том, что за ней уже ничего не следовало.

— А ты сам-то? — спросил я.

Я и не думал спрашивать. За две недели я не задал ни одного лишнего вопроса ни одному окну. А тут спросил, сам не знаю зачем. Может, потому, что этот единственный не отвернулся.

Он посмотрел на меня без злости, будто вопрос был не в новинку.

— Что я сам. Я эту графу закрываю. Найму тебя — мне капнет процент, маленький, но капнет. Не найму — сижу тут и дышу горелой проводкой задаром. — Он качнул подбородком в сторону погасшего коридора за моей спиной. — Думаешь, меня сюда посадили за заслуги? Я такой же списанный, как ты, старик. Только меня списали за стол, а не в трюм. Кому-то надо сидеть в конце тёмного коридора и подписывать тех, кому дальше уже некуда. Вот я и сижу, подписываю. Разница между нами одна. Тебя ещё повезут, а меня уже привезли.

Он сказал это ровно, без жалости к себе, как говорят о чужом. Я понял, что цинизм у него не от злобы, а вместо кожи, которой не осталось. Так закрываются те, кого содрали до кости. Он не хотел, чтоб я ушёл, потому что мой уход был его несомкнутой графой, а сомкнутая графа — его сегодняшний паёк.

— Что я должен подписать? — спросил я.

Он смотрел на меня секунду дольше, чем нужно, будто ждал, что я встану и уйду, как встают и уходят те, у кого ещё есть куда. Потом развернул ко мне экран.

Контракт был короткий. Короткие контракты всегда хуже длинных, потому что в них нет ничего, что защищало бы тебя, а есть только то, что защищает их. Я читал внимательно, строка за строкой, как читал всю жизнь чужие бумаги, и видел все крючки. Вычеты, которые превращали жалованье в почти ничто. Пункт о том, что при списании члена экипажа его довольствие прекращается немедленно. Пункт о том, что расходы на возвращение несёт сам член экипажа. Пункт, набранный самым мелким шрифтом, о том, что при невозможности возвращения корпорация не несёт обязательств.

Я читал и складывал в уме, во что мне обойдётся каждый пункт, если он сработает, и выходило, что сработай хоть половина — и я останусь должен за собственную смерть. И всё же в этих строках был один расчёт, которого они не написали, потому что не считали нужным. Три года. Три года они обязаны меня кормить, поить и возить, пока я числюсь единицей номер три. Что я успею отложить за это время при их вычетах, они прикинули заранее, и вышло почти ничто. Но почти ничто — это не совсем ничто, а у человека, которому не оставили вообще ничего, всякое почти на счету.

Я знал, что подпишу. Знал ещё до того, как вошёл в этот коридор с погасшими лампами. Не потому, что был храбрым, и не потому, что был дураком. А потому, что завтра мне исполнялось пятьдесят один, и после этого дня для человека вроде меня оставалось ровно два места. Трюм Профита или яма утилизатора здесь, на Даунсайде. Профит хотя бы платил, пусть и почти ничего. А главное, Профит давал три года. Три года — это не так мало, когда тебе не оставили вообще ничего. За три года многое может случиться. Я не знал ещё, что именно, но всю жизнь я умел одно, чего не умели узкие люди вокруг. Я умел смотреть на груды разного барахла и видеть в ней то, чего не видели те, кто разбирался в чём-то одном.

И был у меня ещё один расчёт, которого я не сказал бы вслух ни этому человеку, ни кому другому. Я хотел дожить эти три года и сойти где-нибудь тихо, сытым, с крышей над головой и с воздухом, за который не вычитают половину платы. Немного. Ровно столько, чтобы кончить остаток не единицей в чужой накладной, а человеком. И глубже, под этим желанием,

лежало другое. Мне хотелось хоть раз перед концом убедиться, что то, чем наделила меня жизнь вместо денег и места, эта привычка видеть целое там, где другие видят свой кусок, чего-нибудь да стоит. Всю жизнь она не стоила ничего. Может, думал я, стоит просто не там, где я до сих пор искал.

Я приложил палец к экрану. Сканер считал мой чип, и там, где секунду назад стоял актив, теперь появилась новая строка. Экипаж Профита, единица номер три.

Человек за столом выдохнул, будто с плеч свалилась не его тяжесть, а моя.

— Стартуете через двое суток с нижнего дока, — сказал он и уже не смотрел на меня, потому что дело было сделано и я перестал быть человеком, я стал строкой. — Явиться за сутки. Опоздаешь — спишут до вылета, и никто искать не будет.

Я встал. Стул снова качнулся.

Уже у двери он окликнул меня, коротко, без интереса, просто чтобы заполнить графу.

— Как записать. Имя.

— Виктор, — сказал я. — Виктор Скорев.

Он застучал по клавиатуре, и я услышал, как моё имя вписывают в реестр Профита, туда, откуда, по его словам, возвращались не все. Странное дело. Всю жизнь моё имя ничего не весило, а сейчас, когда его вписали в накладную на мусор, идущий за край мира, оно вдруг стало последним, что у меня осталось. Я вышел в тёмный коридор, сделал вдох дурного дешёвого воздуха и подумал, что где-то там, на другом конце этой дороги, среди чужих отходов, свезённых туда, где никто не смотрит, меня ждёт то, чего я ещё не знал. И впервые за долгое время мне стало не всё равно, доживу ли я до того, чтобы это увидеть.

Глава 2. Профит

Нижний док Даунсайда был последним местом планеты перед пустотой, и пахло там уже не гнилым воздухом жилых уровней, а холодным металлом и озоном от сварки. Я пришёл за сумкой, как велели. Опаздывать было некуда и незачем. Всё, что у меня осталось, помещалось в одну сумку, и я нёс её, как носят не имущество, а последнее доказательство того, что ты ещё человек, а не строка в накладной.

В доке было холодно так, как не бывало на жилых уровнях, где тепло чужих тел стояло в коридорах круглые сутки. Здесь тепло не берегли, потому что беречь его для грузчиков и списанных никто не собирался, а груз в тепле не нуждался. Я поставил сумку у ноги и подышал на ладони. Из рта шёл пар. Под сводом дока висели прожекторы, и половина из них была погашена, а те, что горели, светили голым белым светом на ряды спрессованных блоков, укрытых до поры под сеткой. Люди сновали между ними, мелкие на фоне этих куч, и я подумал, что отсюда, сверху, не разобрать, где кончается груз и начинаются те, кто его возит. И то, и другое свозили в один док, чтобы отправить в одну сторону.

Профит стоял в дальнем шлюзе, и, увидев его, я понял, почему вербовщик просил не смеяться над названием. Смеяться не хотелось. Это был старый грузовой тягач, длинный и тупой, с корпусом, покрытым заплатами разного цвета, будто его латали все, кому не лень, много лет и без всякого плана. По борту тянулись потёки, каких не бывает в вакууме, а значит, их привезли из атмосферных доков давних лет и с тех пор не трогали. Двигательные секции были обмотаны кабелем поверх обшивки. Название горело на носу тусклыми буквами, и одна из них не работала, так что читалось Профит наполовину, как обещание, в которое никто уже не верил.

Меня встретил не капитан и не помощник, а человек в промасленной робе, старый, сухой, с руками, которые за жизнь переделали больше, чем помнили. Он оглядел меня так, как я сам когда-то оглядывал груз, прикидывая, сколько с него толку и сколько мороки.

— Третий помощник, — сказал он не то мне, не то себе. — Ну ясно. Меня зови Чиф. Не потому, что старый, хотя и старый, а потому, что до меня тут этот движок держал другой Чиф, а до него ещё один. Должность такая. Пойдём, покажу, где будешь спать и почему лучше туда не привыкать.

Я пошёл за ним. Внутри Профит был ещё честнее, чем снаружи. Коридоры узкие, потолки низкие, кабель по стенам, лампы через одну. Пахло тем же, чем и везде на дне моей жизни, рециркулированным воздухом и синтетической едой, только к этому примешивалось что-то ещё, тяжёлое и сладковатое, и я не сразу понял, что это запах самого груза. Мы возили спрессованный мусор верхних систем, и он был с нами за каждой переборкой, тысячи тонн чужих отходов, отделённых от нас сталью в палец толщиной.

Запах этот не выветривался. Он держался в коридорах ровно, как держится в старой одежде запах того, кто носил её до тебя. Первые часы меня от него мутило, потом я перестал замечать, а к вечеру поймал себя на том, что уже сам им пропах, и рубаха, и волосы, и, наверное, кожа. Так и должно было быть. Человек, который возит мусор, сам понемногу становится частью груза, и корабль не делает между нами разницы. Ему всё равно, что за переборкой — спрессованные отходы верхних систем или спящий третий помощник. И то, и другое он тащит на Дамп, потому что так записано в накладной.

Трюм, где мне полагалось спать, был отсеком между жилой частью и грузовыми секциями. Койки в три яруса, и почти все пустые.

— Экипаж небольшой, — сказал Чиф, заметив мой взгляд. — Раньше возили вдесятером, теперь вшестером. Капитан Холт, первый пилот, я, двое на погрузку и ты. Меньше ртов,

меньше воздуха, больше барыша тем, кто наверху. Их и называли кораблём в шутку. Только шутка старая, никто уже не смеётся.

Он показал мне койку у самой переборки грузового отсека, худшее место, где сквозь сталь слышно, как оседает и трещит спрессованный мусор, и объяснил без злобы, просто как факт, что новичку всегда достаётся эта койка, потому что новичок дольше всех остаётся новичком, а часто и не задерживается настолько, чтобы получить место получше.

— На этой койке до тебя спал один, — добавил Чиф, уже уходя, — да сплыл. И до него спал. Ты не думай ничего, койка как койка. Просто места у нас тут освобождаются чаще, чем занимаются. Привыкнешь спать под то, как груз оседает, — считай, прижился. Не привыкнешь — так тебе же хуже, деваться-то всё равно некуда.

Он ушёл в свои секции, а я сел на койку, попробовал её ладонью и прислушался. За сталью в палец толщиной что-то тяжело сдвинулось и осело, глухо, как оседает земля над тем, что в неё закопали. Я подумал, что человек ко всему привыкает, и лёг, не раздеваясь, проверить, усну ли под этот звук. Уснуть не вышло, но и страшно не было. Страшно бывает от того, чего не понимаешь. А я понимал. Груз оседает, потому что тяжёлый. Койка освобождается, потому что люди тут кончаются. Всё просто, когда смотришь прямо.

Капитана я увидел только перед стартом, в тесной рубке, где на троих было место едва на двоих. Холт оказался человеком лет шестидесяти, широким и тяжёлым, с лицом, на котором ничего не отражалось, потому что отражать давно было нечего. Он не поздоровался и не спросил моего имени. Он посмотрел в бумаги, где имя уже стояло, потом на меня, сверяя, тот ли это груз прибыл, что записан, и, убедившись, что тот, отвернулся к пульту.

— Знаешь, что значит третий помощник на этом корыте? — спросил он, не глядя.

— Догадываюсь.

— Это значит, что ты никто. Первый пилот ведёт. Я решаю. Чиф держит, чтобы летело. А ты делаешь то, что скажут, и не путаешься под ногами. Умеешь не путаться под ногами, старик?

— Всю жизнь только это и умел, — сказал я.

Он впервые взглянул на меня внимательнее, на секунду, будто в моём ответе было что-то, чего он не ждал. Потом хмыкнул и вернулся к пульту, и я понял, что это было почти одобрение, какое бывает у людей, которым нечего дать, кроме короткого хмыканья.

Он положил тяжёлую ладонь на пульт, и я заметил, что кожух под его рукой треснул и стянут скобой, как всё на этом корабле.

— Корыто старое, — сказал он вдруг, не мне, а куда-то в приборы. — Его списать должны были лет десять назад. Держат, потому что чинить дешевле, чем строить новое. Гоняют, пока само не рассыплется. Как меня. — Он осёкся на полуслове, будто сказал не то, и договорил ровнее, глуше. — Как всякую старую деталь, пока крутится. Ты вот что запомни, старик. Моё дело одно — довести рейс без ЧП. Довёл без ЧП, привёл, сколько увёз, — значит, всё сделал. Мне героев не надо и находчивых не надо. Мне надо, чтоб ничего не случилось. Понял?

— Понял, — сказал я.

Он кивнул, будто поставил галочку, и отвернулся. Но я уже услышал то, чего он не хотел сказать, и услышал не ухом, а той старой привычкой складывать чужие оговорки. Человек, который сравнил себя со старым корытом, которое давно пора списать, боится за себя того же, что за свой корабль. Что однажды посчитают дешевле не чинить. Мы с ним, выходило, боялись одного, только он сидел в капитанском кресле, а я на худшей койке, и оттого думали, что мы разные.

Старт с Даунсайда я запомнил не по толчку и не по перегрузке, а по тому, как ушёл звук. На планете всегда есть гул, ты его не замечаешь, пока он есть, тысячи насосов, вентиляций, чужих жизней за стеной. Когда Профит оторвался от дока и вышел в пустоту, этот гул исчез, и остался только собственный шум корабля, ровный и одинокий, и в этом шуме я вдруг услышал,

как громко бьётся моё собственное сердце. Пятьдесят один год я прожил среди чужого гула, а теперь его не стало, и оказалось, что под ним всё это время было очень тихо.

В иллюминаторе рубки Даунсайд уменьшался, серый камень без атмосферы, в котором копошилась вся моя прежняя жизнь. Я смотрел, как он превращается в точку, и не чувствовал ни горя, ни облегчения. Мне нечего было там оставлять и некому меня было там провожать. Человек, у которого ничего нет, легко отрывается от места. В этом единственное преимущество нищеты.

Первые дни ушли на то, чтобы понять корабль. Меня гоняли на любую работу, какая находилась, и находилась она постоянно, потому что старое железо ломается непрерывно и мелко. Я таскал, крепил, чистил фильтры, помогал Чифу в двигательных секциях, разбирал завалы в грузовых трюмах, где спрессованные блоки чужого мусора надо было укладывать плотнее, чтобы освободить объём. И вот тут со мной случилось то, чего я сам от себя не ждал.

Я начал видеть.

Не в каком-то особенном смысле. Просто там, где другие видели свою узкую работу, я по старой привычке видел всё сразу. Первый пилот знал курс и не лез в двигатель. Чиф знал двигатель и не смотрел в бумаги. Погрузчики знали свои трюмы и не думали, откуда и куда всё это едет. А я всю жизнь был третьим, никем, тем, кого суют на любую дыру, и оттого нахватался по верхам отовсюду. Я знал по чуть-чуть про курс, про двигатель, про груз, про учёт, про людей. И когда я смотрел на Профит целиком, я замечал то, чего не замечал никто, потому что никто не смотрел на целое. Никому за это не платили.

На третий день я заметил первое.

Мы крепили груз в дальнем трюме, и я, сверяя блоки с манифестом по старой привычке считать всё, что проходит через руки, увидел, что один блок в описи есть, а в трюме его нет. Мелочь. Один блок из тысяч. Никто бы не хватился. Погрузчик, здоровый молчаливый парень по имени Бёрк, пожал плечами и сказал, что так всегда, что при погрузке всегда что-то не сходится, что мусор есть мусор, кто его считает.

Он посмотрел на меня, как смотрят на новичка, который лезет считать то, что до него сто лет никто не считал.

— Ты, старик, брось эти счёты, — сказал он и хлопнул ладонью по блоку, аж гул пошёл за переборку. — Тут тебе не биржа и не приёмный док. Тут груз один — дерьмо спрессованное, и груз другой — дерьмо спрессованное, и весь учёт. Хочешь считать — считай лучше свои пайки, чтоб тебя на них в столовой не обсчитали. Вот где недостача так недостача.

Второй погрузчик, помоложе, засмеялся и сказал, что в прошлый рейс его обсчитали на три пайка за месяц и что это уж точно кто-то имеет с них навар, потому что паёк на корабле считают до крошки, а мусор не считают вовсе. Они сцепились между собой, кого и на сколько обделили в столовой, и забыли и про меня, и про блок. Я не стал их поправлять. Но про себя усмехнулся тому, что парень, сам того не зная, сказал вещь верную. Там, где считают до крошки, воруют мало. Воруют там, где не считают вовсе. А не считали тут именно мусор.

Я ничего не сказал. Я был третьим помощником, никем, и моё дело было не путаться под ногами. Но впервые за долгие годы во мне шевельнулось что-то похожее на интерес, тихий и осторожный, как шевелится в норе зверь, который давно не ел и вдруг учуял, что где-то рядом есть чем поживиться.

Вечером, если можно назвать вечером час, когда в корабле гасят половину ламп, чтобы экономить, Чиф позвал меня к себе в двигательный отсек, где было теплее всего на всём Профите, и налил из фляги мутной жидкости, которую гнал сам из технического спирта и чего-то ещё, о чём лучше было не спрашивать.

Фляга у него была старая, плоская, из потемневшего металла, с вмятиной на боку и стёртой до гладкости крышкой. Он держал её так, как держат не вещь, а привычку, и я подумал, что за все годы в пустоте это, может быть, единственное, что у него по-настоящему своё. У

человека, которому корабль не принадлежит, койка не принадлежит, воздух и вода отпущены по норме и вычтены из платы, своим остаётся только то, что он унесёт в кулаке. У Чифа это была фляга. Что было моим, я тогда ещё не знал.

— Пей, старик, — сказал он. — Впереди полгода пустоты. Кто не научится сидеть в тишине, того тишина съест раньше, чем что другое.

Я выпил. Жгло так, что на минуту стало не до мыслей, и это, наверное, и было главным свойством напитка. Чиф смотрел на движок, который держал живым дольше, чем я держал в руках хоть что-то своё, и говорил, медленно, без цели, просто чтобы звучал человеческий голос в пустоте.

— Знаешь, куда мы летим? На Дамп. Дальняя система, край всего. Туда свозят то, что не должно попадаться на глаза там, где живут приличные люди. И летим мы через пустоту, где нет ничего. Ни станций, ни огней, ни спасателей. Если тут что случится, никто не придёт. Мы для конторы строка. Груз номер такой-то, экипаж шесть единиц. Улетело шесть, прилетело шесть, хорошо. Улетело шесть, прилетело пять, ну списали одного, бывает. Никто не считает. Ты это пойми сразу и не жди, что за тобой кто-то вернётся. За тобой не вернётся.

Он похлопал ладонью по кожуху движка, как хлопают по боку животину, которая тебя долго везла.

— Вот его я держу дольше, чем всё остальное в своей жизни. Жену не удержал, угол свой не удержал, а его держу. Он у меня не встанет, пока я дышу. — Чиф помолчал, глядя в тёплое нутро отсека. — Только одно я себе положил, старик, и то не всякому скажу. Когда мой срок придёт, я с этого корыта сойду сам, на своих ногах, а не так, чтоб меня вынесли в мешке и вычеркнули единицу. Не знаю ещё, как оно выйдет. Но положил, и держусь за это, как за флягу.

Он будто удивился, что сказал это вслух, и завинтил флягу на пол-оборота, словно закрывая не флягу, а лишнее слово. Потом глотнул ещё и добавил, тише, будто эта мысль была из тех, что не любят звучать в голос, глядя не на меня, а в темноту за иллюминатором, где не было ни единой звезды достаточно близко, чтобы дать тепло.

— Тут, на дальних, всякое плавает. Пустота большая, а кораблей за годы через неё прошло много. Не все дошли. Уходят в рейс, как мы, а на том конце их не встречают, и на этом не хватаются. Строка и строка. Кто её будет искать в такой темноте.

Я хотел спросить, что он имеет в виду, но Чиф уже закрыл эту тему, как закрывают люк перед тем, что лучше не выпускать наружу. Он завинтил флягу до конца, отвернулся к движку и сказал, что мне пора спать, потому что утром опять таскать.

Я вернулся в трюм, лёг на худшую койку у самой переборки и долго не мог уснуть. За сталью в палец толщиной оседал и трещал спрессованный чужой мусор, тысячи тонн того, что кто-то когда-то счёл ненужным. Я лежал среди этого и думал, что и сам такой же, отход, свезённый туда, где никто не смотрит. И ещё я думал про блок, которого нет в трюме, но есть в бумаге, и про слова Чифа о том, что не все корабли дошли. Я не связывал тогда одно с другим. Просто отметил и то, и другое, как отмечал всю жизнь, по привычке, без цели, складывая в памяти разное барахло, из которого однажды, я ещё не знал когда, сложится то, чего не увидит никто, кроме меня.

Три года, думал я, лёжа в темноте. Мне надо было продержаться три года и сойти где-нибудь тихим и сытым, и весь мой расчёт был в том, чтобы за это время не сломаться и не попасться на глаза беде. Не искать ничего. Мне и не надо было ничего искать. Но привычка замечать не спрашивала, надо мне или нет. Она работала сама, как работало сердце, которое я впервые услышал сегодня, когда ушёл чужой гул. И где-то в этой привычке, я чувствовал, был мой единственный шанс кончить эти три года не единицей, а человеком.

Впереди была пустота, полгода тишины и дороги на край всего. Я закрыл глаза и впервые за долгое время уснул не как человек, которому нечего ждать, а как человек, который начал, сам того не желая, чего-то ждать.

Глава 3. Пустота

Время в пустоте текло не так, как на планете. На Даунсайде дни считались сменами, гудками, очередями за пайком, и каждый был похож на другой, но всё-таки был отдельным днём. В полёте дни слиплись в одно. Мы летели через пространство, где не было ничего, за что мог бы зацепиться глаз, ни планеты, ни станции, ни близкой звезды, только чёрное со всех сторон и редкие холодные точки так далеко, что от них не было ни тепла, ни смысла. В таком пространстве человек быстро понимает, какой он маленький, и либо смиряется с этим, либо сходит с ума. Чиф был прав. Тишина съедала тех, кто не умел в ней сидеть.

Холод в пустоте был не такой, как в доке. В доке холодило металлом, а тут холодило самым чёрным за бортом, тем, что от корабля отделяла обшивка да редкий гул движка, который один и держал в нас тепло и ход. Я привык считать этот гул, как привыкают к дыханию соседа за стеной. Пока он ровный, всё живо. Стоило ему на полтона просесть, и я, где бы ни был, поднимал голову. За бортом не было ничего, что могло бы нам помочь, если он смолкнет. Тут я впервые понял по-настоящему, а не на словах, что значит внешняя тьма, о которой говорят на дальних. Это не темнота, в которой чего-то не видно. Это темнота, в которой нет ничего, и в ней ты со своим гудящим железом — единственное тёплое пятно на многие недели пути в любую сторону.

Я умел. Всю жизнь я умел сидеть тихо и никому не мешать, и оказалось, что это как раз то, что нужно, чтобы пережить дальний рейд. Погрузчики, Бёрк и второй, помоложе, звали его Тэйт, маялись без дела, потому что груз был закреплён, а до Дампа было ещё далеко, и от безделья они то играли на пайки в кости, то цапались из-за пустяков.

Кости у них были самодельные, из спрессованной крошки, и стучали глухо, без звона, как всё на этом корабле. Я иногда сидел рядом, не играя, потому что играть мне было не на что и незачем, а слушать было можно. Они спорили о ерунде, о том, чей паёк на вкус хуже, о том, что вода за последнюю неделю стала пахнуть иначе, и Тэйт клялся, что Чиф что-то мудрит с рециркулятором, а Бёрк отвечал, что Тэйт сам мудрит, лишь бы не отдавать проигранное. Потом, наскучив ссориться, принимались травить старое, кто где ходил и что видел. Тэйт был молодой и всё больше слушал, а Бёрк за годы на дальних набрался баек, и половина из них была про то, что кто-то где-то на кого-то наткнулся в пустоте.

— Один раз шли мы порожняком с Хейвена, — рассказывал Бёрк, трясая кости в кулаке, — и приняли метку сбоку от курса. Слабую, еле живую. Штурман говорит, судно. Стоит, дрейфует, не отвечает. Капитан наш глянул да мимо и прошёл. Не наше, говорит, дело. У кого встало, тот пусть сам и чинится, а нам за спасение чужих никто не платит, за нас самих бы кто вступился. Так и прошли. А метка та ещё сутки за кормой висела, тихая. Стоит себе корабль в темноте и стоит. Кто на нём, что на нём — так никто и не узнал.

— И бросили? — спросил Тэйт.

— А ты бы что, крюка дал на неделю ради чужих? — Бёрк бросил кости. — Тут своих не считают, а ты — чужих. В пустоте кто встал, того нет. Дальше едем.

Я слушал вполуха, как слушал всё, и складывал в память и эту байку тоже, не думая зачем. Стоит корабль в темноте, никто не подошёл, никто не узнал. Обычное дело на дальних. Я тогда так и подумал, обычное дело, и перевернулся бы к другому, если бы не привычка, которая берёт всё подряд, не спрашивая, пригодится или нет.

Первый пилот, Рид, сидел в рубке и смотрел на курс, и больше его ничего не касалось. Он был молод, лет тридцати пяти, и знал одно своё дело так, как знают его люди, которых с детства учили одному и не давали смотреть по сторонам. Курс он держал безупречно. Всё остальное на корабле для него не существовало.

Я к тому времени уже понял главную особенность этой команды и всего этого мира. Каждый знал своё и не совал носа в чужое. Так было устроено везде, и не случайно. Чиф объяснил мне это однажды в двигательном отсеке, за своей флягой, куда я стал заходить по вечерам, потому что там было тепло и там был единственный на корабле человек, с которым можно было говорить.

— Наверху так задумано, — сказал он. — Чтобы каждый знал кусок и никто не знал целого. Узкий человек послушный. Он свой кусок делает, а что из этого выходит и кому идёт, ему невдомёк, и спросить некому, потому что сосед знает свой кусок и тоже не видит дальше. Так корпорация и держит всех. Не силой. Незнанием. Раздели человека на куски, и он сам себя стеречь будет.

Я слушал и думал, что Чиф, сам того не зная, объяснил мне, чем я отличаюсь от них всех. Меня никто не делил на куски, потому что я никому не был настолько нужен, чтобы меня растить под одно дело. Меня всю жизнь совали куда придётся, и оттого я нахватався всего понемногу. Я был плохим специалистом в чём угодно и оттого единственным, кто видел, как куски складываются в целое. Раньше я считал это своим проклятием. Полжизни я завидовал тем, кто умел что-то одно, но хорошо, и получал за это место и деньги. Теперь, в пустоте, я впервые подумал, что, может быть, широта, за которую мне никогда не платили, чего-нибудь да стоит. Просто платят за неё не там и не так, как за узость.

Проверить эту мысль случай дал скоро.

На двадцатые примерно сутки, точнее в пустоте не скажешь, корабль тряхнуло, и погас свет в половине отсеков. Не авария, но близко. Рид заорал из рубки, что упала подача на маршевые, Чиф метнулся к движку и через минуту крикнул, что движок чист, что дело не в нём. Холт вышел из своей каюты, тяжёлый и молчаливый, и стоял в темноте, слушая, как ругаются двое, каждый из своего куска, каждый уверенный, что беда в чужом хозяйстве, и оба не видящие целого.

В отсеках, где погас свет, стало сразу холоднее, будто темнота была заодно с тем чёрным, что снаружи, и только и ждала, чтобы просочиться внутрь. Аварийные лампы дали слабый красный свет, в котором лица делались чужими. Я стоял в проходе и слушал, как за спорящими голосами ровно, чуть глуше обычного, тянет движок. Вот это я слушал внимательнее всего. Пока он тянул, у нас было время. Смолкни он в такой темноте, и спорить стало бы не о чем.

А я видел. Не потому, что был умнее. Потому что стоял между ними и слушал обоих сразу. Рид кричал про подачу, Чиф про то, что движок чист, и в этих двух криках, если сложить их, слышалось одно. Если движок чист, а подача упала, значит, дело не в том, что производит энергию, и не в том, что её тратит, а в том, что между ними. В распределении. Я видел старую схему корабля, когда чистил кабель по стенам, и помнил, что распределительный узел стоит в переходе у трюма, там, где вечно сыро от конденсата, потому что рядом холодная переборка грузового отсека.

Я не стал ничего объяснять. Объяснять было долго и не по чину. Я просто взял фонарь и пошёл в переход у трюма.

Идти пришлось в темноте, на ощупь, вдоль холодной переборки, за которой оседал груз. Фонарь выхватывал кабель, потёки, ржавые скобы. У самого узла было так сыро, что пальцы скользили, и холод от переборки прошибал руку до локтя. Я нашёл то, что искал. Конденсат натёк на старый контакт, замкнул, защита сработала и сбросила половину сети. Работа была простая, но неудобная, в тесноте, одной рукой, с фонарём в зубах. Я обесточил узел, протёр контакт насухо тряпкой, оторвал полосу от подкладки своей же куртки, единственной приличной вещи, что у меня была, и проложил под контакт, чтобы отвести сырость. Куртку было жаль. Но куртка грела одного меня, а свет был нужен всем, и я давно научился считать, что дороже. Я вернул питание. Свет в отсеках загорелся. Всё заняло минут десять, из которых половина ушла на дорогу в темноте туда и обратно.

Когда я вернулся в рубку, все трое смотрели на меня. Рид, Чиф и Холт. Я сказал, коротко, что было сыро на распределительном в переходе, что контакт замкнуло конденсатом, что я просушил и проложил, но что надо переносить узел от холодной переборки, иначе будет повторяться. Наступила тишина. Рид смотрел так, будто я влез в его дело, хотя это было не его дело. Чиф усмехнулся в бороду. А Холт посмотрел на меня тем долгим взглядом, каким смотрел в первый день, и спросил, откуда третий помощник знает, где на его корабле стоит распределительный узел.

— Кабель чистил, — сказал я. — Пока чистишь, поневоле смотришь, что куда идёт.

Холт ничего не ответил. Но с того дня меня перестали гонять только на таскать и чистить. Меня стали посылать туда, где никто не мог понять, в чём беда, потому что беда всегда была на стыке двух хозяйств, а на стыке не смотрел никто, кроме меня. Я не стал от этого важнее. Я по-прежнему спал на худшей койке и ел тот же пластик, что и все. Но я стал полезен по-новому, тихо и незаметно, и это было ровно то, что я умел лучше всего. Быть нужным, не будучи заметным.

Одно вышло не так, как мне хотелось. Рид меня после того случая невзлюбил. Я это заметил сразу и понял почему. Я влез туда, где, по его понятиям, третьему помощнику делать нечего, и вышло, что он, первый пилот, орал про подачу, а починил не он, а старик, которого взяли заполнить строку. Для человека, у которого всё держится на том, что он хорош в своём деле, это была заноза.

Дней через несколько я принёс ему в рубку пайку и кружку той бурды, что у нас звали чаем, потому что заносить в рубку велел Холт, а больше никому. Рид взял, не поблагодарив, и я хотел уйти, но он вдруг заговорил, глядя не на меня, а на курс.

— Ты думаешь, я тут навсегда, — сказал он. — Не думай. Я на кольце временно. Отхожу положенное и всё, меня переводят на живой маршрут, к обжитым системам, где станции, огни, люди. Мне обещали. Отслужу — и переводят.

Он сказал это так, будто убеждал не меня, а себя, и по тому, как он это сказал, я понял, что круг у него не первый и не второй, а третий, а то и четвёртый, что обещали ему давно и что каждый рейс он везёт это обещание с собой, как я вёз свою сумку.

— Хороший пилот везде нужен, — сказал я, потому что надо было что-то сказать.

— В том и дело, что нужен. — Рид усмехнулся, невесело. — Нужен тут. Кто хорошо ведёт по кольцу, того с кольца и не отпускают, потому что дурак кольцо не пройдёт, а дальний рейд без хорошего пилота — это гроб. Вот и держат хороших на самом дне. Чем лучше ведёшь, тем крепче тебя тут забыли. — Он спохватился, что сказал лишнее чужому человеку, и добавил жёстче: — Иди. Твоё дело — лампочки. Курс не твоё дело.

Я ушёл. Но унёс с собой и это. Рид боялся не пустоты и не смерти. Рид боялся, что кольцевая дорога, по которой он гонял безупречно, засосёт его насовсем, что его выслуга обернётся против него, что его не отпустят как раз потому, что он хорош. Это был тот же капкан, в котором сидели все мы, только повёрнутый к нему другой стороной. Меня не брали, потому что я стар и сер. Его не отпускали, потому что молод и годен. А выходило одно. С кольца не сходят.

По вечерам Чиф говорил больше обычного. Ему, кажется, нравилось, что появился слушатель, который не перебивает и понимает с полуслова. И однажды он рассказал мне то, что я запомнил, сам не зная зачем.

— Тут, на дальних, деньги другие, — сказал он. — Наверху всё считано, всё под корпорацией, каждый кредит виден, откуда пришёл, куда ушёл. А в пустоте так нельзя. В пустоте люди рассчитываются тем, что никто не видит. Есть учётки, анонимные, не привязанные ни к кому. Открыл, положил, ключ у тебя, и всё. Ни имени, ни лица, только ключ. Пока ключ у тебя, деньги твои. Потеряешь ключ, и деньги висят в пустоте вечно, ничьи, потому что достать их без ключа не может даже корпорация.

Он вытащил из-под робы шнурок, и на шнурке висела маленькая тёмная штука, не больше ногтя, потёртая от тела.

— Вот он, ключ, — сказал Чиф, и я понял, что показывает он его не всякому и что это уже доверие, а может, просто одиночество, которому надо кому-то показать, что у него есть. — Тут вся моя пустота записана. Всё, что я за годы отложил мимо корпорации. Немного, но моё, и никто, кроме меня, до него не доберётся. Пока он на мне, я не совсем единица. У единицы ключа нет. У единицы всё считано. А у меня есть кусок, которого не видит никто наверху. — Он спрятал ключ обратно под робу, к телу. — Оттого и держусь, Виктор. Человек держится, пока у него есть хоть что-то, чего у него не отнять, не спросясь.

Он отхлебнул из фляги и добавил, тише, будто эта мысль была из тех, что не любят звучать вслух.

— Оттого и говорят, что дальний рейд — это где деньги мёртвых. Летит человек, копит в такой учётке, а потом с ним что случится, а ключ при нём. И висит его копилка в пустоте, пока кто-нибудь не наткнётся на ключ. А наткнётся редко кто. Пустота большая. Больше висит, чем находят.

Я слушал и складывал это в память, туда же, где уже лежал блок, которого нет в трюме, но есть в бумаге, слова о кораблях, что не дошли, и байка Бёрка про метку, что сутки висела за кормой. Я не связывал их между собой. Мне и в голову не приходило их связывать. Я просто по старой привычке брал всё, что попадалось, и складывал, как складывают в углу разное барахло, которое сейчас не нужно и, наверное, не понадобится никогда, но выбросить рука не поднимается.

Ночью я лежал на своей койке у переборки и слушал, как оседает за сталью чужой мусор. Впереди была ещё половина дороги до Дампа, недели и недели пустоты. Я думал о том, что за пятьдесят лет впервые оказался нужен не как пара рук, а как пара глаз, которые видят целое. И ещё я думал, что пустота, которой все боятся, ко мне добра. Она не делит человека на куски. В пустоте я был весь, каким был, широкий и никчёмный, и оказалось, что именно такой тут и выживает дольше узких.

Я не знал ещё, что впереди, в этой самой пустоте, куда мы летели, что-то ждёт. Чиф сказал бы, что впереди только Дамп да чёрное со всех сторон. Но я всю жизнь замечал, что бумага не сходится с грузом там, где кто-то что-то имеет, и что за словами про мёртвые деньги всегда стоит чей-то ключ. Я замечал это по привычке, без цели. А привычка замечать — единственное, что у меня было, кроме худшей койки и полугода тишины впереди.

Глава 4. Недостача

Мусор, если возить его достаточно долго, перестаёт быть мусором и становится работой, а всякая работа, если приглядеться, устроена сложнее, чем кажется тому, кто делает в ней только свой кусок. Я приглядывался. Делать мне всё равно было почти нечего, кроме как чинить то, что ломалось на стыках, а ломалось оно не каждый день, и в свободные часы я по старой привычке считал.

Считать чужое добро было единственным ремеслом, которому меня научила жизнь, хотя научила поневоле. Пятьдесят лет я стоял третьим при чужих грузах, при чужих деньгах, при чужих делах, и никогда эти грузы, деньги и дела не были моими. Оттого я и научился считать их особенно трезво. Когда что-то твоё, ты смотришь на него с надеждой и оттого плохо видишь. Когда чужое, видишь всё как есть. За полжизни при чужом я насмотрелся так, что теперь замечал недостачу раньше, чем те, кому она принадлежала.

Тело моё к пятидесяти годам стало таким же расходным, как всё на этом корабле. По утрам, если на дальнем рейсе бывает утро, разгибался я долго, спина держала холод переборки как чужую вину, а руки, пока не разотрёшь, слушались не сразу. Вода шла по норме, полторы кружки в смену, тёплая, с привкусом рециркулята, которым тут пахло всё, от одежды до еды. Воздух тоже был по норме, и норму эту я чувствовал не прибором, а затылком, к вечеру тяжелевшим. Я не жаловался. Мне нужно было немного. Дожить эти три года, не сломавшись раньше срока, получить своё и уйти туда, где будет тёплый угол, сытная не синтетическая еда и тишина, в которой никто не спишет тебя по возрасту. Тихая сытая старость — вот и вся корысть, какую я позволял себе вслух. Про другую, про ту, что грелась глубже, я себе покуда не признавался. А другая была. Доказать себе, хоть перед смертью, что вся моя серая широкая никчёмность на что-то годилась. Что я, единица в чужом списке, всё же видел то, чего не видели те, кто меня в этот список вписал.

А недостача на Профите была.

Началось с того одного блока, которого не хватило в дальнем трюме на третьи сутки. Я тогда отметил и забыл, вернее, отложил, потому что ничего не забываю до конца. Но потом стало больше. Я сверял груз не потому, что мне поручили, а потому, что руки сами тянулись к манифесту, как тянутся к чёткам у того, кто привык их перебирать. И каждый раз выходило, что в бумаге чуть больше, чем в трюме. Не намного. Блок тут, блок там, на тысячи как будто мелочь. Но мелочь не бывает случайной, если она повторяется. Случайность не умеет считать. А тут кто-то считал.

Сверять груз в дальнем трюме было делом холодным и долгим. Там держали ровно столько тепла, чтобы не застыл крепёж, и я ходил вдоль штабелей в стёганой куртке, дыша паром, водя лучом лампы по маркировке блоков и сличая её с манифестом на потёртой пластине. Блоки стояли рядами, схваченные стропами и распорками так, чтобы не пойти гулять при манёвре, и я проверял не только счёт, но и вязку, потому что худшая койка досталась мне у самой переборки дальнего трюма, и если бы этот груз сорвался, первым бы он пошёл на меня. Я запоминал не цифры, цифры я и так держал в голове, а места. Где какой ряд, где какой зазор, где вчера был проход, а сегодня блок. Память на места была у меня всегда крепче памяти на слова, и на ней-то и держался мой счёт. Кто крадёт помалу, тот меняет места, думая, что глаз не заметит. Глаз, может, и не заметит. Но место помнит.

Погрузку и раскладку в трюмах держали двое, Тэйт и Бёрк, и с ними я делил самую грязную работу, потому что третий помощник на мусоровозе от грузчика отличается только строчкой в контракте. Тэйт был из молодых, жилистый, неразговорчивый на людях, но в трюме, вдвоём, у него развязывался язык, как у всякого, кому долго не с кем говорить о доме. Дом у него был на одной из нижних планет, я не запомнил названия, да он и сам называл её про-

сто — дома. Между блоками, отдыхая, он доставал из-под ворота жетон на шнурке, обычный опознавательный жетон, какие выдают на вербовке, только с той стороны, где номер, он выщарапал что-то своё и вставил под пластик крохотный снимок, потёртый до того, что лиц было уже не разобрать.

— Жена, — сказал он, поймав мой взгляд, и повернул жетон ко мне, будто там и вправду можно было что-то увидеть. — И малой. Ему теперь года четыре. Был год, когда уходил.

Я посмотрел, потому что человеку надо, чтобы посмотрели.

— Хорошие, — сказал я, хотя не разобрал ничего.

— Я деньги домой шлю, — сказал он, пряча жетон обратно под ворот, к телу. — Каждый рейс. Там долг за меня остался, за вербовку ещё, и лечить надо, малой лёгкими слабый, как все у нас. Отработаю долг, поднакоплю на билет и вернусь. Ещё два рейса, много три.

Он говорил это ровно, как говорят затверженное, и я слушал ровно, как слушают затверженное, и мы оба знали, кажется, одно и то же, только он не давал себе это додумать, а я давно перестал щадить себя такими недоговорками. С дальнего кольца не возвращаются через два рейса. С дальнего кольца, если и возвращаются, то стариками, отдав ему те самые годы, ради которых уходили. Тэйт хотел вернуться домой. По-настоящему он хотел вернуться в тот год, когда уходил, к той жене и к тому малому, а того года уже не было и не будет, сколько ни шли денег. Но сказать ему это было всё равно что ударить, и я промолчал. Пусть шлёт. Деньги дойдут, даже если он сам не дойдёт.

Я не понимал сначала главного. Зачем красть мусор. Мы везли отходы, спрессованный хлам верхних систем, за который никто не заплатит и медяка, потому что за то и платят конторе вроде Аутбаунда, чтобы это увезли с глаз долой и больше не вспоминали. Красть мусор было всё равно что красть пустоту. И всё же кто-то крал, аккуратно, помалу, из рейса в рейс, я в этом уже не сомневался.

Ответ пришёл, как всегда приходят ответы к тому, кто смотрит на целое. Не из одного места, а из складки между двумя.

Я помогал Бёрку в среднем трюме перекладывать блоки и заметил, что не все они одинаковы. Большинство были серые, плотные, спрессованный обычный хлам. Но иногда попадались другие, чуть тяжелее, чуть плотнее, с иным звуком, если стукнуть. Я стукнул по такому пару раз, будто проверяя укладку, и Бёрк, обычно молчаливый, вдруг напрягся и сказал, чтобы я эти не трогал, что эти особые, что их грузят и разгружают отдельно и по особому счёту.

Он сказал это резко, а потом, будто спохватившись, что резкостью выдал больше, чем молчанием, добавил тише, почти по-приятельски:

— Ты, старик, если умный, не в бумагу гляди, а по сторонам. Бумага для тех, кто наверху. А тут, на дне, кто первый руку протянул, тот и взял. Груз всё равно не сходится, всегда чуток не сходится, так уж заведено. С несходящегося не грех и себе урвать. Никто не хватится того, чего по бумаге нет.

Я кивнул, будто соглашаясь, но ничего не ответил. Бёрк был из тех, кто хочет вырваться разом, одним рывком, одним ловким куском чужого, и не понимает, что дно тем и держит, что на рывке ты и оступаешься. Я таких видел много. Они срезают углы, пока угол не срежет их. Мне спешить было некуда. Мне некуда было и рвать. Я хотел не разом, а понемногу и до конца.

Особые. Особый мусор. Я кивнул и больше их не трогал, но про себя понял почти всё. Не весь хлам, который свозят на Дамп, одинаков. Верхние системы выбрасывают не только настоящий мусор. Они выбрасывают и то, что им невыгодно держать, но что ещё чего-то стоит. Списанное, но не мёртвое. Оборудование, которое дешевле выбросить, чем чинить. Материалы, которые попали под запрет и которые нельзя продать открыто, но можно тихо. Всё, что наверху стало для них хламом, внизу, в чьих-то умелых руках, ещё оставалось товаром. И кто-то на этой цепочке, от верхних доков до Дампа, отбирал эти особые блоки и уводил их мимо счёта, туда, где за них платят те, кто умеет видеть в отбросах ценность.

Я стоял среди чужого мусора и думал, что вся эта схема, огромная, тянущаяся от богатых систем до края мира, держится на одной простой вещи, которую наверху считают своей главной силой, а она на деле их главная слепота. Они так уверены, что выброшенное ничего не стоит, что даже не смотрят, что именно выбрасывают. Они делят мир на ценное и мусор раз и навсегда, наверху, чужими руками, и больше не проверяют. А в щель между их ценным и их мусором утекает целое состояние, помалу, из рейса в рейс, мимо всех счетов, и достаётся оно тем немногим, кто не поленился посмотреть в мусор внимательно.

Я всю жизнь был таким мусором. Меня тоже списали наверху, раз и навсегда, по возрасту, не глядя, что именно списывают. И вот теперь я, списанный, стоял среди списанного и впервые ясно видел то, чего не видели те, кто меня списал. Что в куче отбросов, если смотреть, всегда есть то, что чего-то стоит. Надо только не быть узким. Надо смотреть на целое.

Я помнил день, когда меня списали. Ничего в нём не было особенного, оттого он и запомнился. Ни разноса, ни вины, ни даже разговора. Пришло уведомление на общий терминал, строка среди других строк: такой-то, по достижении, выведен из состава, довольствие прекращено с числа. Меня даже не вызвали. Полсотни лет службы уместились в одну строку, написанную не человеком, а правилом, и правило это не держало на меня зла, как не держит зла станок на сточенную деталь. Я собрал вещи в один мешок — их и набралось на один мешок за пятьдесят лет — и пошёл вниз, на нижний уровень, в клетушку, где мне было положено доживать. И всю дорогу вниз я думал не о том, как это несправедливо, а о том, как это аккуратно. Как чисто сработано. Ни крови, ни крика, ни лишнего движения. Просто строка. Так и надо списывать, если хочешь, чтобы списанный не роптал: не бей его, не гони, а вычеркни — и он сам уйдёт, потому что вычеркнутому идти больше некуда. Вот тогда, стоя в лифте, что вёз меня вниз, я и дал себе последнее обещание. Не отомстить, не подняться, на это меня не было. А только одно: не уйти совсем незамеченным. Хоть раз, хоть перед собой, увидеть то целое, которого не видит никто из тех, кто чертит эти строки. Тогда я думал, что обещание пустое. На Профите я начал думать иначе.

Я не собирался ни красть, ни доносить. Донос на Профите стоил бы мне жизни быстрее, чем недостача стоила кому-то денег, а красть я не умел и не хотел, потому что кража требует смелости, которой у меня не было, и связей, которых у меня не было тем более. Я просто смотрел и понимал, и это понимание было пока единственным, что я нажил в этом рейсе. Но я знал по опыту, что понимание — тоже имущество. Иногда единственное, которое нельзя ни украсть у тебя, ни списать по возрасту.

Вечером Чиф, разливая свой самогон, спросил ни с того ни с сего, доволен ли я местом. Фляга у него была старая, помятая, отшлифованная ладонями до блеска на боках, и он держал её так, как держат не вещь, а память. Свет от единственной лампы над столом падал жёлтый, скудный, экономный, как всё тут, и в этом свете самогон в кружке казался темнее, чем был.

— Место как место, — сказал я. — Худшая койка, худшая доля. Мне не привыкать.

— Ты приглядываешься, старик, — сказал он и посмотрел на меня из-под седых бровей внимательно, без хмеля. — Я вижу. Ты ходишь тихо, а глаза у тебя ходят громко. Считаешь чего-то.

Я не стал отпираться. С Чифом отпираться было глупо, он был из тех стариков, что видят человека насквозь не умом, а долгим опытом.

— Считаю, — сказал я. — Привычка. Всю жизнь при чужом добре, вот и считаю чужое, даже когда не просят.

— И как, сходится?

Я посмотрел на него и понял, что он спрашивает не просто так. Что он тоже знает про особые блоки, знает давно, может быть, дольше меня, и, может быть, сам как-то в этом участвует, механик, без которого корабль не полетит, всегда в доле, если доля есть. Я понял, что этот вопрос — проверка. Донесу или промолчу. Полезу или пойму, что не моё.

— Сходится, — сказал я спокойно. — У меня всё всегда сходится, Чиф. Я так устроен, что если не сходится, я не успокоюсь, пока не пойму почему. Но понять для себя и полезть — разные вещи. Я старый, чтобы лезть. Мне бы дожить рейс да получить своё, вот и вся моя корысть.

Чиф смотрел на меня долго, потом усмехнулся и налил ещё.

— Умный ты, старик, — сказал он. — Только умный не так, как молодые умные. Те лезут, где блестит, и оттого недолго живут. А ты умный тихо. Тихий умный на дальнем рейсе — редкая птица. Тихие умные доживают.

— А ты, Чиф, чего ждёшь? — спросил я, потому что раз он читал меня, справедливо было почитать и его.

Он покатал флягу в ладонях, тёплую от рук, поболтал остатком.

— Я, Виктор, ничего уже не жду, — сказал он, и то, что он назвал меня по имени, а не стариком, я отметил. — Мне бы движок дотянуть да самому дотянуть с ним рядом. Я на этом корыте не первый десяток. Знаю его лучше, чем себя. Одного не хочу — чтоб меня, как деталь, сняли и выбросили, когда решат, что отходил своё. Хочу сам сойти. Когда сам решу. Немного, а моё.

Он не сказал больше, и я не спросил. У каждого на этом корабле было своё немного, ради которого он терпел большое. У Тэйта — дом, которого уже нет. У меня — тёплый угол в конце. У Чифа — уйти по своей воле, а не по чужому списку. Разное немного, а суть одна. Каждый хотел прожить остаток человеком, а не деталью, которую ставят и снимают, покуда крутится, и списывают, когда встанет.

Мы выпили молча. За иллюминатором была всё та же пустота, чёрная, без дна, и где-то в ней, впереди, за недели пути, ждала нас Дамп, край мира, куда свозят всё, что наверху сочли ненужным, не глядя, что именно свозят. Я думал о том, что вся моя жизнь была подготовкой к этому месту, хотя я до последнего этого не знал. Пятьдесят лет меня учили быть незаметным, широким и никчёмным, считать чужое и молчать. Пятьдесят лет это ремесло не стоило ничего. Но мы летели туда, где, может быть, оно наконец чего-нибудь да стоит. Я ещё не знал, чего именно. Я просто чувствовал, тихо и осторожно, как чувствует зверь тепло сквозь толщу камня, что впереди, среди чужих отбросов, лежит что-то, предназначенное не для тех, кто смотрит узко, а для того единственного, кто привык смотреть на целое. И этим единственным на всём Профите был я.

Я допил, поблагодарил Чифа и пошёл в свой трюм, к худшей койке у переборки, за которой оседал и трещал чужой мусор. Я лёг и долго слушал этот треск, и впервые он не давил меня, а будто говорил со мной на языке, который понимал я один. Где-то в этой массе списанного пряталось несписанное. Надо было только дожить, доехать и посмотреть внимательно.

Глава 5. Две планеты

Первую планету мы почуяли раньше, чем увидели. В пустоте нет запахов, но у корабля, идущего на погрузку, есть своя примета. За сутки до подхода Чиф погнал нас чистить и готовить пустые секции трюмов, а сам полез в шлюзовые механизмы, и по тому, как он ругался, я понял, что скоро работа. Мы шли не порожняком, у нас уже был груз с самого начала, но на дальнем рейде мусоровоз не возит с одной планеты. Он собирает по пути, с нескольких миров сразу, чтобы один долгий рейс окупал дорогу. Нам предстояло взять ещё с двух планет и всё вместе свезти на Дамп.

Первая называлась Синдер. Так её звали грузчики, и другого имени я не услышал. Когда Профит вышел на низкую орбиту, я увидел в иллюминаторе рубки мир, затянутый бурой пеленой, сквозь которую едва пробивались красные пятна. Это была старая промышленная планета, из тех, что жгли и плавили столетиями, пока небо над ними не стало непригодным для дыхания, а земля непригодной ни для чего, кроме новых заводов. Атмосфера у Синдера была, но такая, что жить в ней могли только машины. Люди сидели под куполами, а всё остальное дымило, коптило и производило то, что нужно верхним системам, и заодно то, что верхним системам не нужно, — отходы, которые надо было куда-то девать.

Погрузка шла на орбитальном терминале, куда с планеты поднимали спрессованные блоки. Я работал в трюме, принимал и крепил, и снова, по неистребимой привычке, считал. Мусор Синдера был тяжёлый, плотный, с металлическим отливом. Промышленный шлак, отработанные материалы, то, что остаётся, когда из руды и сырья выжали всё, что можно продать. Блоки шли ещё тёплыми, они отдавали тот сухой жар, что копится в металле, побывавшем в печи, и в трюме от них стоял запах горелой окалины, который забивал даже привычный рециркулят. Я цеплял стропы, затягивал крепёж, проверял на рывок и снова затягивал, потому что груз, который сдвинется в пустоте, — это не убыток, это смерть, и руки мои, битые полусотней лет такой работы, делали это сами, пока голова считала. Казалось бы, окончательный хлам, отжатый досуха. Но и среди него попадались те самые особые блоки, чуть иные на вид и на звук, и грузили их отдельно, и считали отдельно, и я уже не удивлялся. Даже отжатый досуха мир выбрасывает то, что ещё чего-то стоит, если знать, куда смотреть.

Я разговорился с одним из терминальных грузчиков, пока крепили стропы. Он был здешний, с Синдера, из-под купола, и на дальний рейд смотрел с завистью, потому что дальний рейд, при всей его дряни, был всё же дорогой прочь, а с Синдера дороги прочь не было. Он рассказал, не жалуясь, а просто как рассказывают о погоде, что под куполами дышат через фильтры, которые меняют по норме, а норму режут каждый год, что вода привозная и дорогая, что детей стало мало, потому что дети на Синдере болеют лёгкими с рождения. Он говорил всё это, а я слушал и думал, что вот он, тот же самый порядок, что и на Даунсайте, только с другого конца. Там людей делают мусором в конце жизни, списывая по возрасту. Тут их делают мусором с рождения, поселяя под ядовитым небом. Корпорациям было всё равно, с какого конца. Им был важен только промежуток, в котором из человека можно выжать пользу, а до и после человек был расходом, как воздух, как вода, как всё на Синдере.

Грузчик ушёл к своим стропам, а я остался стоять с этой мыслью, как стоят с занозой. Я ведь и сам был из того же теста, из промежутка, из которого выжали, что могли, и списали. Разница была только в том, что я это знал про себя, а он про себя ещё нет, он ещё завидовал моей дороге прочь, не понимая, что дорога прочь ведёт на такую же свалку, только дальше. И всё же я не считал себя ровней ни ему, ни блоку, который крепил. Блок был расход, и грузчик был расход, и я был расход. Но пока я видел, что мы все расход, и видел, кто и как нас в расход пускает, я оставался ещё не совсем деталью. Человек — это, может, и есть тот, кто видит свою

цену со стороны и всё-таки держит спину. За это стоило доживать. Не только за тёплый угол. За то, чтобы уйти всё-таки человеком, а не вычеркнутой строкой.

Взяв с Синдера полтрюма, мы снова ушли в пустоту. Чиф сказал, что до второй планеты недели две ходу, и эти две недели слились в одно, как сливалось всё в пустоте. Я чинил стыки, считал груз, по вечерам сидел у Чифа с флягой, а по ночам слушал, как оседает за переборкой мусор двух миров, смешанный теперь в одном трюме, промышленный шлак Синдера и то, что было у нас с начала.

Раз в эти пустые дни я поднялся в рубку, отнести Риду проверенную сводку по креплению, и застал его одного у пультов, в том сером свете приборов, от которого лица делаются как у покойников. Рид был лучший из нас по делу и худший по нраву — молодой, злой на свою удачу, которая занесла его на кольцо. Он вёл корабль чисто, без единой лишней поправки, и видно было, что руки у него для другого, для живых маршрутов, для пассажирских линий, где возят людей, а не спрессованный хлам.

— Смотри, Скорев, — сказал он, не оборачиваясь, и повёл пальцем по нитке курса на экране. — Круг. Синдер, Хайв, Дамп и назад. Год туда, год обратно. И так, пока не спишут. Я на живой линии должен ходить, понимаешь. Я курс держу лучше половины тех, кто возит людей между верхними системами. А сижу тут, вожу мусор по кольцу, потому что на живую линию берут по связям, а связей у меня нет.

— Живая линия — тоже клетка, — сказал я. — Только чище пахнет.

— Пусть чище, — отрезал он. — Из чистой клетки хоть выходят. Я себе корабль хочу. Свой. Пусть старую посудину, лишь бы своя, лишь бы курс мой. Отхожу контракт, накоплю и уйду с кольца. Только бы не застрять. Тут ведь как — думаешь, один рейс, а потом глядишь, и десять лет, и ты уже часть корыта, как переборка.

Я слушал и думал, что он боится ровно того же, чего все тут, только называет это по-своему. Боится прирасти к кольцу, стать деталью маршрута, которую уже не отделить. Я не стал говорить ему, что тот, кто считает годы до свободы, обыкновенно и есть самый несвободный, потому что живёт не тут, а в том дне, которого может и не быть. Я это знал по себе. Я тоже когда-то считал годы до чего-то лучшего, пока не кончились годы, а лучшее так и не пришло. Теперь я не считал вперёд. Я считал только груз, потому что груз хотя бы был.

По вечерам этих двух недель я, как повелось, сидел у Чифа. Пили мы понемногу, не ради хмеля, а ради того, чтобы был повод сидеть и молчать не в одиночку. Иногда Чиф всё же говорил, и разговоры эти были ни о чём, о ерунде, но за ерундой у него всегда пряталось что-то, если слушать.

— Раньше на этом корыте кормили лучше, — сказал он как-то, глядя в кружку. — Не вкуснее, вкусного тут не бывало отродясь. А сытнее. Норму резали на моей памяти три раза. Всё три раза говорили — временно, потуже поясок, пока трудный участок. А потуже поясок так и остался. Оно ведь как: затянут на дырку, ты потерпишь, обвыкнешь, а обратно уже не отпускают. Зачем отпускать, если ты и так живой.

— Везде так, — сказал я. — На Синдере воздух режут по норме и тоже всё временно.

— Везде, — согласился он и махнул рукой, словно отгоняя тему. — Ладно. Ты пей. Пока наливают, считай, что живёшь.

Мы спорили с ним однажды полночи о такой ерунде, что наутро я и не вспомнил, с чего началось, — не то о том, какой рециркулят хуже пахнет, носовой или кормовой, не то о том, доходит ли до Дампа хоть какой-нибудь свет от здешних солнц. Спорили всерьёз, упрямо, как спорят люди, которым важен не предмет, а сам спор, потому что спор — это когда ты ещё кому-то нужен настолько, чтобы с тобой не соглашались. Наутро правды мы так и не нашли, и это было неважно. Важно было, что ночь прошла не в тишине.

Вторая планета была не похожа на первую ничем, кроме одного. Её тоже звали не именем, а прозвищем. Хайв. Когда мы вышли на орбиту, я понял почему. Это был мир, покрытый

не заводами, а жильём, уровень за уровнем, купол за куполом, до самого горизонта, тесный, кишачий, забитый людьми до предела, за которым уже не живут, а только существуют. Синдер производил вещи. Хайв производил людей. Он был тем, чем был Даунсайд, только в масштабе целой планеты, — резервуаром дешёвых рук, которые верхние системы черпали, когда нужны были руки, и в который сливали обратно, когда руки становились не нужны.

И мусор у Хайва был под стать. Не промышленный, не тяжёлый, а бытовой, лёгкий, бесконечный, — то, что остаётся от миллиардов тесно живущих людей. Упаковка синтетической еды, изношенная одежда, сломанная дешёвая утварь, всё то, что производят дешево, чтобы дешево выбросить. Мы брали этот мусор блоками, спрессованный до камня, и я, принимая его, ловил себя на странном чувстве. Промышленный хлам Синдера был безличен. А в этом, бытовом, было что-то от людей. Спрессованные вместе, до неразличимости, миллионы мелких следов чужих жизней, съеденного, сношенного, сломанного. Мусор Хайва был спрессованными жизнями, вывезенными на край мира, чтобы там о них забыли, как о самих людях забудут, когда те состарятся. Блоки эти были легче синдерских, но брать их было тяжелее, потому что из среза иного нет-нет да и торчал угол, в котором ещё читалось прежнее, — обрывок цветной обёртки, край детской подошвы, спёкшийся ком того, что кто-то носил, пока не сносил. Я старался не вглядываться. Вглядываться в такое было незачем и некогда.

Особые блоки были и здесь. Их грузили и считали отдельно, как везде. Мы брали Хайв блок за блоком, и Бёрк, ворочая рядом особый, чуть иной на звук, сказал вполголоса, ни к кому:

— Вот за один такой, если знать кому, дают больше, чем нам за весь рейс. А идёт он мимо нас, будто нас и нет. Обидно, старик. Мимо самых рук идёт.

— Мимо рук идёт то, что не по рукам, — сказал я. — За такое берут не деньгами, а головой. Кто потянулся не по себе, тот и остался тут навсегда.

Он хмыкнул и не ответил, но я видел, что слова легли не туда, куда я целил. Бёрк слышал только первую половину — что дают больше, чем за рейс. Вторую, про голову, он не слышал вовсе. Такие не слышат. Тэйт, работавший поодаль, к разговору не пристал, только глянул на нас, тронул сквозь ткань жетон на груди и молча потянул следующий блок. Он своё решил давно и в чужой торг не лез. Ему нужно было не урвать, а донести, рейс за рейсом, деньги домой, и он берёг силы на это, а не на разговоры.

Я уже понимал схему целиком, от верхних доков через Синдер и Хайв до Дампа, — как по всей этой цепочке кто-то отбирает из потока отбросов то, что ещё живо, и уводит мимо счёта. И чем полнее я понимал, тем яснее видел, что понимаю это один. Рид знал курс к Хайву. Чиф знал, как довести до него движок. Грузчики знали, как уложить блоки. А как устроено целое, от начала до конца, не видел никто, потому что никому за это не платили и никого этому не учили. Кроме меня, которого не учили ничему, а оттого выучили смотреть на всё. И я поймал себя на том, что это знание греет меня, тихо и стыдно, будто я всё-таки чего-то стою, будто пятьдесят лет никчёмности сложились наконец в одно умение, которого нет больше ни у кого на борту. Прожить человеком, а не единицей в списке, — вот, оказывается, чего мне ещё хотелось, кроме тёплого угла.

Перед уходом с орбиты Хайва ко мне подошёл Холт. Он редко подходил к кому-нибудь сам, и я насторожился.

— Ты груз считаешь, — сказал он. Не спросил, сказал.

— Считаю, капитан. Привычка.

— И как, у нас всё на месте?

Я посмотрел на него и понял, что это второй такой вопрос за рейс, после Чифа, и что оба спрашивают об одном, и оба на самом деле спрашивают не про груз, а про меня. Опасен ли я. Полезу ли туда, куда не по чину, или пойму своё место.

— У вас всё на месте, капитан, — сказал я ровно. — Ровно столько, сколько по бумаге. А бумагу пишу не я.

Холт смотрел на меня своим долгим тяжёлым взглядом, в котором ничего не отражалось, и я не знал, что он в этом взгляде решает. Потом он кивнул, коротко, будто поставил галочку в каком-то своём внутреннем манифесте, и ушёл, ничего не добавив.

Я знал, чего он боится, хоть он и не сказал бы вслух. Холт был капитан только по названию, а по сути такой же наёмный, как я, только с большей строчкой ответственности и оттого с большим страхом. Ему нужно было одно — довести кольцо без происшествий, рейс за рейсом, без единого ЧП, за которое списывают капитанов быстрее, чем грузчиков. Он копил свой ключ так же, как Тэйт слал деньги домой, и боялся так же, как Чиф, — что в один рейс его снимут, как снимают отслужившую деталь, и на его место поставят другого, помоложе, подешевле. Оттого он и щупал меня взглядом. Не потому что боялся, что я украду. Потому что боялся всего, что могло сбить его тихий заход на посадку в конце. Новый человек с считающими глазами был для него не вором, а риском. А риска он не хотел никакого. Он хотел сойти тихо, целым, с ключом. Я его понимал. Я хотел того же, только у меня и ключа-то ещё не было.

Я остался стоять у трюма, полного спрессованных жизней Хайва и спрессованного шлака Синдера, и думал о том, что сказал правду, и что правда была лучшей защитой из всех. Я и вправду не собирался лезть. Я и вправду знал своё место. Просто моё место, единственное, которое у меня было, — это место того, кто видит. А видеть мне никто запретить не мог, потому что видеть — это не воровать и не доносить. Видеть можно тихо. И я видел.

Мы взяли с Хайва вторую половину груза, полный трюм с двух планет сразу, промышленный шлак и спрессованные жизни, и легли на курс к Дампе. Впереди была ещё дорога, и в конце её — планета, куда всё это свозят и где всё это остаётся навсегда. Я стоял у иллюминатора и смотрел, как уменьшается Хайв, кишащий мир, из которого нет дороги прочь, и думал, что везу на край мира отходы двух планет, а на деле — отходы одного и того же порядка, который перемалывает и вещи, и людей, и меня в том числе, и выбрасывает туда, где никто не смотрит. Туда мы и летели. И я, единственный на Профите, летел туда не с тоской, а с тихим, осторожным, стыдным даже интересом. Потому что там, куда свозят всё несмотренное, должно было накопиться за годы много такого, на что стоило посмотреть.

Глава 6. Дамп

Дамп я увидел за сутки до подхода, и первое, что я подумал, — что это не планета, а рана. Мир был мёртвый, без атмосферы, как Даунсайд, но Даунсайд хотя бы когда-то был честным камнем, из которого что-то добывали. Дамп не был камнем. Дамп был тем, что осталось от бесчисленных миров после того, как из них выжали пользу. Вся его поверхность, сколько хватал глаз, была покрыта не породой, а слоями свезённого сюда за десятилетия хлама, спрессованного собственной тяжестью в холмы, в хребты, в целые горные цепи из отходов. Планета, сложенная из того, что все выбросили. Я смотрел на него в иллюминатор и думал, что впервые вижу свой мир целиком, вынесенный наружу и увеличенный до размеров планеты. Мир списанного. И я летел к нему, списанный, как летит капля к морю, из которого она вышла.

Профит зашёл на разгрузку не сверху, а в один из бесчисленных разломов, которыми была изрыта поверхность, — в глубокие траншеи, куда сбрасывали груз, чтобы он спрессовывался ещё плотнее под собственным весом и весом того, что свалят сверху завтра. Разгрузка была проще погрузки и оттого тоскливее. Мы просто открывали трюмы и отдавали пустоте то, что везли полгода. Промышленный шлак Синдера, спрессованные жизни Хайва, всё, что мы собрали с двух планет, уходило в траншею и становилось новым слоем Дампа, неотличимым от миллионов слоёв под ним. Полгода дороги, чтобы отдать чужой мусор мёртвой планете и лететь за новым. В этом была вся суть нашей работы и, если подумать, вся суть того порядка, которому мы служили. Собрать ненужное там, где на него неприятно смотреть, и свезти туда, где на него не смотрит никто.

Разгружались мы молча, каждый в своём. Трюмы, отдав груз, стали гулками, и голос в них отдавался чужим эхом, как в пустой бочке. Тэйт стоял у раскрытого трюма, глядя, как уходит вниз спрессованный хлам, и лицо у него было такое, будто он провожал не мусор, а что-то своё. Я встал рядом.

— Полгода везли, — сказал он, — чтоб вывалить в яму. И назад полгода порожняком считай. Год жизни за одну яму, старик.

— За деньги домой, — напомнил я, потому что он сам себя этим держал.

— За деньги домой, — повторил он и тронул сквозь ткань жетон на груди, как трогают больное место, проверяя, болит ли ещё. — Знаешь, я иногда думаю: пока я тут ямы кормлю, малой растёт без меня. Я деньги шлю, а рядом ему не я, а деньги. Вернусь — а он меня не признает. Скажет, чужой дядька. — Он усмехнулся, чтоб не вышло жалобно. — Ну ничего. Ещё рейс, ну два. Вернусь.

Я не сказал ничего. Мы стояли и смотрели, как год его жизни и полгода моей уходят в траншею, к миллионам таких же лет, свезённых сюда и забытых. Тэйт хотел вернуться. Я хотел дожить. Дамп под нами не хотел ничего. Он просто принимал всё, что ему свозили, и не отдавал назад ничего, и в этом был честнее всех нас.

Работа была нехитрая, но выматывала не телом, а чем-то внутри. Мы отпускали крепёж, снимали стропы, которые сами же вязали полгода назад на двух орбитах, и толкали блоки к сбросу, а дальше их брала слабая здешняя тяжесть и тянула вниз, в траншею, медленно, почти лениво, без грохота, какой был бы дома, — в пустоте всё падает тихо. Руки к концу смены гудели, спина не разгибалась, и я жалел, что нельзя лишний раз глотнуть воздуха вволю: на разгрузке дышишь чаще, а норма от этого не растёт, и к последнему трюму в голове стоял тот лёгкий звон, по которому я научился узнавать, что воздуха мне отмерено ровно, без запаса. Я работал и думал, что вот так, наверное, и уходит из человека жизнь на этой службе — не разом, а стропа за стропой, блок за блоком, тихо падая в чью-то траншею, где её никто не считает.

Но Дамп не был пуст. Это меня поразило больше всего. Там, где никто не смотрит, всегда кто-то живёт.

Между траншеями, под слоями хлама, в норах и старых контейнерах, приспособленных под жильё, обитали люди. Их звали старьёвщиками, хотя они звали себя как-то иначе, я не запомнил. Это были те, кого списали ещё раньше меня, — старики, калеки, беглые должники, все, кому не нашлось места даже на нижних уровнях планет, и кто пришёл сюда, на самое дно, где не платят за воздух, потому что здесь нет воздуха и каждый добывает его сам, как умеет. Они жили тем, что копались в свежих сбросах раньше, чем те спрессуются, и вытаскивали из чужого мусора то, что ещё чего-то стоило. Они и были той окончательностью схемы, которую я разгадал ещё на Профите. Тем последним звеном, где выброшенное наверху превращалось обратно в товар.

Я разглядел их жильё, пока мы стояли под разгрузкой. Между хребтами хлама, в затишье, куда не сваливали свежее, тлели редкие огни, слабые, жёлтые, экономные, как всё, что горит там, где за каждый ватт и каждый вдох платят собой. Норы, прикрытые лоскутами обшивки, снятой с давно умерших кораблей; контейнеры, поставленные торчком и обжитые; переходы между ними, обозначенные не тропой, а протоптанной в вечной пыли колеей. А над всем этим висела пыль. Она и вправду не оседала. На мёртвой планете без ветра и почти без тяжести ей некуда было лечь, и она стояла в пустоте столбами и пеленами, серая, мелкая, вечная, взбитая давно и не думавшая опускаться. Свет наших прожекторов вязнул в ней, не доставая до дна траншей. Я смотрел на эту висящую пыль и думал, что она — как память этого места. Всё, что тут когда-либо ворошили, поднялось однажды в воздух и осталось висеть, потому что забыть ему тут негде.

Когда мы разгрузились, к нашему шлюзу подошёл один из них, в старом латаном скафандре, весь в пыли Дампа, которая не оседает, а висит, потому что оседать ей некуда. Он двигался медленно, экономно, как двигаются те, кто считает каждый вдох, потому что вдох тут был не даровой, а свой, добытый. Он пришёл не к нам, а к особым блокам, тем самым, что грузили и считали отдельно. Их не сбрасывали в общую траншею. Их передавали ему, тихо, мимо основного счёта, и он расплачивался, и я стоял неподалёку и видел, чем.

Он расплачивался ключом.

Не деньгами, не кредитами верхних систем, которые здесь, на краю мира, не значили ничего, потому что тут не было куда их потратить и кому предъявить. Он передал Холту маленький потёртый жетон, и Холт приложил его к своему считывателю, и по лицу капитана, обычно ничего не отражавшему, скользнуло короткое удовлетворение. Я вспомнил слова Чифа про деньги мёртвых, про анонимные учётки, привязанные к ключу, живущие сами по себе, ничьи, пока ключ у кого-то в руке. Вот как рассчитывались здесь, на дне мира, там, где кредиты верхних не действуют. Ключами. Тем, что не привязано ни к имени, ни к лицу, ни к корпорации. Тем, что переживает и хозяина, и государство, и всё, кроме себя самого.

Чиф объяснял мне это раньше, не сразу, а по вечерам, отрывками, как объясняют то, о чём вслух говорить не любят. Ключ — это не деньги сами по себе, говорил он. Ключ — это доступ. Где-то там, в сетях, которых никто из нас в глаза не видел, висят учётки, ничьи, без имени и лица, и на них лежит то, что когда-то было чьим-то, а стало ничьим, когда хозяин замолчал. Пока ключ цел и у тебя в руке, учётка твоя. Потерял ключ — и всё, что за ним, растворилось, будто и не было, потому что спросить не с кого и предъявить нечего. Оттого их и зовут деньгами мёртвых. Они и вправду мёртвые: не растут, не работают, не спрашивают, чьи были. Просто лежат в темноте и ждут живой руки. Я слушал тогда вполуха, думал — не моего ума дело. А тут, у шлюза, глядя, как Холт прячет чужой жетон, понял, что запомнил каждое слово. Я всегда всё запоминаю. Особенно то, что однажды может оказаться не таким уж чужим.

Я смотрел на этот обмен и складывал в память, как складывал всё. Особые блоки — старьёвщик — ключ. Схема замкнулась у меня в голове целиком, от верхних доков до этой траншеи, вся, от начала до конца, и я был единственный на Профите, кто видел её всю. Остальные видели свои куски. Холт видел ключ, который получал. Чиф видел движок, который довёз

нас сюда. Старьёвщик видел блоки, которые вытаскивал. А целое видел я, и это целое было простым и страшным. Весь этот огромный порядок, от богатых систем до мёртвой планеты, держался на одном. На уверенности сильных, что выброшенное ничего не стоит. И на том, что где-то на дне всегда найдётся тот, кто знает, что это не так.

Старьёвщик, уходя, задержался у нашего шлюза и посмотрел на меня. Не знаю, что он увидел в моём лице, может быть, то же, что видел Чиф, — глаза, которые ходят громко. Он был старый, старше меня, и в его выпавших глазах было что-то, чего не было ни у кого на Профите, ни у Холта, ни у Рида, ни даже у Чифа. В них не было надежды, это да, но не было и покорности. Было спокойствие того, кто дошёл до самого дна и обнаружил, что дно — это твёрдо, что ниже уже не упадёшь, и что на этой твёрдости, если хватит ума, можно стоять.

— Первый рейс? — спросил он меня хрипло, через внешнюю связь скафандра.

— Первый.

— Присматривайся, — сказал он, кивнув на горы хлама вокруг, на весь этот мир списанного. — Тут наверху думают, что свозят сюда пустоту. А сюда свозят всё, чего они не досмотрели. Кто умеет смотреть, тот тут не бедствует.

Я не отвёл глаз, и это ему, похоже, понравилось, потому что он не ушёл сразу, а качнул головой на горы хлама, на висящую пыль, в которой тонул слабый свет наших шлюзовых ламп.

— Я тут тридцать лет, — сказал он. — Меня списали ещё до того, как ты, может, на службу пошёл. Думали, сдохну в первую зиму, тут ведь воздух свой, кто сколько наскребёт. А я вот стою. Знаешь почему? Потому что ниже некуда. Наверху человек всю жизнь боится упасть, оттого и держится за что попало, за место, за начальника, за норму. А я упал уже. До самого низа. И оказалось — низ твёрдый. На нём стоять можно, если спину держишь. Отсюда не падают. Отсюда только смотрят вверх на тех, кому ещё есть куда лететь.

Он говорил без жалобы и без похвальбы, ровно, как говорят о работе.

— Воздух да ключ, — сказал он. — Вот всё, что тут в цене. Воздух, чтоб дотянуть до завтра, и ключ, чтоб завтра было чем дышать. Деньги верхних сюда не летают. Тут ходит только то, что мёртвых переживает. Ключ ничей, пока в руке. Оттого им и платят на дне — он один не врёт и не гниёт.

Я слушал и складывал, как складывал всё.

— А наверх, — сказал он и мотнул головой уже не на горы, а в сторону, в чёрное за краем планеты, туда, где не было ни Синдера, ни Хайва, ни вообще ничего, — наверх не суйся даже мыслью. Там, за отвалами, дальше кольца, тьма без края. Корабли туда уходят и не возвращаются. И не то чтоб гибнут в бою или в буре, нет. Просто тянутся себе в темноте, мёртвые, с мёртвым нутром, годами, и никто их не считает, потому что кто считает то, чего по бумаге давно нет. Иной раз такой и прибьётся сам к отвалам, к нашим траншеям, как топляк к берегу. Пустой. Холодный. Со всем, что в нём было, когда он замолчал. Тут про такое не спрашивают. Тут про такое молчат. Но ты человек считающий, я вижу. Так вот тебе весь счёт: что списали и не досчитали, всё стекает сюда, вниз. Всё. И вещи, и корабли, и люди. Кто умеет ждать и смотреть, тот рано или поздно на своё и наткнётся.

Он повернулся и ушёл, растворился в висящей пыли между траншеями, унося особые блоки и оставляя ключ. А я стоял у шлюза Профита, на краю планеты, сложенной из всего выброшенного во вселенной, и понимал, что старик сказал мне то, что я и сам уже начал понимать, но не решался додумать до конца. Что это место, куда меня выбросили как отход, — не конец. Что здесь, среди несмотренного, лежит то, что предназначено единственному, кто умеет смотреть. Что мне ещё возить и возить этот мусор, полгода туда, полгода обратно, рейс за рейсом все три года контракта. И что где-то на этих дорогах, среди чужих отбросов, свежённых туда, где никто не смотрит, меня ждёт то, чего я пока не знаю, но что узнаю сразу, как только увижу, потому что всю жизнь меня готовили именно к этому, хотя я до последнего этого не знал.

Чиф стоял поодаль, у шлюза, смотрел вслед старику, и лицо у него было незнакомое, мягче обычного, какого я на нём не видел.

— Тридцать лет он тут, — сказал Чиф тихо. — Я его молодым помню, когда сам ещё молодым был. Он тогда наверх смотрел. Теперь не смотрит.

— А ты, Чиф, наверх смотришь?

— Я, Скорев, смотрю только в движок, — сказал он и потёр флягу о бок, привычно, будто грел. — Мне бы дотянуть с ним рядом и сойти самому. Не как деталь, которую сняли и бросили в траншею, а как человек, который сам встал и сам ушёл. Оттого и откладываю понемногу, в свой ключ. Не на богатство. На то, чтоб был у меня хоть один день, за который я никому не должен и ни от кого не завишу. Один день свой. За него всё это и терплю.

Он не сказал больше, спрятал флягу и пошёл в машинное, и я понял, что услышал то, чего он, может, никому ещё не говорил. У каждого тут был свой день впереди, ради которого он кормил ямы годами. У Тэйта — день, когда вернётся домой. У Рида — день, когда уйдёт с кольца на свой корабль. У Чифа — один свободный день в самом конце. У меня — тихая сытая старость, тёплый угол и тишина. Разные дни. А ключ, которым за них платят, один и тот же на всех. Тот, что переживает мёртвых.

Мы задраили трюмы, пустые теперь, гулкие, и легли на обратный курс, к Синдеру, к Хайву, за новым мусором. Полгода назад, к началу дороги, которая теперь стала кольцом. Я в последний раз посмотрел на Дамп в иллюминатор, на мёртвый мир, покрытый спрессованным прошлым, и мне впервые за пятьдесят лет не было ни горько, ни пусто. Мне было тихо и внимательно, как бывает тихо и внимательно охотнику, который вышел на след и знает, что след верный, а спешить некуда, потому что зверь никуда не денется, а терпение у охотника есть. Терпения у меня было на целую жизнь. Её у меня как раз и не на что было больше тратить.

Глава 7. Пустая койка

Второй рейс начался так же, как кончился первый, — с пустоты, с чужого мусора за переборкой, с работы на стыках, где ломалось старое железо. Кольцо замкнулось, и мы пошли по нему снова, к Синдеру, к Хайву, к Дампе и обратно, и я уже знал этот путь, как знают дорогу от койки до уборной в темноте. Дальний рейд лечит от всего, кроме привычки. К привычке он, наоборот, приучает намертво.

Профит держался на честном слове и старом металле и всё время говорил сам с собой. Он гудел насосами, щёлкал остывающими переборками, тянул сквозняк рециркулята по коридорам, и звук этот не был звуком жизни, а был звуком того, как вещь медленно изнашивается изнутри. Ночами, когда движки сбрасывали ход, становилось слышно самое пустоту — не тишину, а ровный низкий шум, с каким за бортом шло ничто. К этому шуму привыкаешь, как к собственному дыханию, и замечаешь его только тогда, когда рядом замолкает кто-то, кто раньше дышал. Нас на Профите было шестеро, шесть дыханий на весь этот гудящий пустой корпус, и я тогда ещё не знал, как громко становится в корабле, когда одно из них выключают.

Тэйт был жив ещё за смену до того, как стать строкой в судовом журнале, и ту последнюю смену мы отработали рядом, в трюме у самой ramпы, куда Синдер подавал свои блоки. Синдер был мир заводов, отработавших своё, планета из ржавого железа и стылого пара, и мусор его был тяжёлый, промышленный, литой в глухие короба, каждый из которых весил, как малый катер. Мы принимали их вдвоём, разводили по местам, крепили, а в перерыв, когда лебёдка стояла и можно было отдышаться, садились у переборки и грели одну пайку на двоих из одного разогревателя, потому что второй давно сдох, а чинить его не спешил никто.

— Опять она, — сказал Тэйт, ковыряя ложкой в своей половине. — Серая. У них там что, других цветов не держат.

— Бывает бурая, — сказал я. — На Хайве грузили бурую.

— Бурая хуже. — Он поел немного и добавил, жуя: — У нас дома такое и свиньям бы не дали. А у нас пусто было, вот что смешно. Пусто, а свиньям бы такое не дали.

Дом у него был на каком-то мире вроде Хайва, из тех, что поднимают дешёвую руку и отправляют её в рейд, чтобы дома стало одним ртом меньше и одним переводом больше. Он говорил про этот дом нечасто, но в ту смену разговорился, как разговариваются люди, когда работа тяжёлая, а до конца ещё далеко, и надо чем-то занять рот, кроме серой пайки.

— Я, Скорев, сюда ведь не за этим пошёл, — сказал он и повёл ложкой, показывая на трюм, на короба, на всё разом. — Я на три года пошёл. Отработаю, что дома причитается — погашу, и ещё останется. Своим отправляю, сколько могу, а чего не могу отправить — коплю. Вернусь, а у меня и на дом хватит, и на то, чтоб больше в рейд не идти. Тут ведь как. Тут если не помрёшь, то поднимешься. Немного, а поднимешься.

Он вытащил из-за пазухи снимок, потёртый до белизны на стигах, и показал мне, не выпуская из рук, будто боялся, что унесёт сквозняком рециркулята. На снимке было что-то зелёное, низкое, с водой у края, — не разобрать, дом или просто место, где он рос, но зелёное, а зелёного я не видел так давно, что и цвет-то узнал не сразу.

— Вот, — сказал он. — Туда и вернусь. Мать там. Ждёт. Я ей перевожу, а она ждёт. Как совсем неумоготу станет, достаю, гляну — и вроде легче. Не на пустое место горбатышься, а на место.

— Помогает, — согласился я, хотя мне глядеть было не на что и переводить некому.

Он спрятал снимок обратно, к самому телу, в нагрудный, и мимоходом хлопнул себя по груди чуть ниже, где под комбинезоном на шнурке висело что-то потяжелее бумаги. Я тогда не придавал этому значения. Мало ли что человек носит на шее в дальнем рейде. Носят кто образок, кто память, кто просто гайку на счастье.

— Ещё год, — сказал он и отдал мне разогреватель с остатком пайки, свою половину доев. — Год с небольшим. И домой. Ты доедай, Виктор, тебе тоже железо ворочать.

— Дойдешь, — сказал я.

Я сказал это, чтобы что-то сказать, как говорят такое всегда, не веря и не думая. А через смену Тэйта не стало.

Тэйт погиб на погрузке у Синдера, на втором нашем заходе туда.

Погиб глупо, как гибнут почти все на дальних рейдах. Не в бою, не в аварии, а по мелочи. Крепёжный строп на тяжёлом промышленном блоке был стар, как всё на Профите, и лопнул в тот момент, когда блок пошёл в трюм, и Тэйт оказался не там, где надо, на полшага ближе, чем можно. Блок весил больше, чем весит человеческая осторожность. Всё кончилось в одно движение, без крика, потому что кричать было нечем. Мы вытащили его из-под блока, но вытаскивать было уже некого.

Тот самый строп мы с ним осматривали накануне, в перерыв, и сочли годным, потому что все они тут были не годные и все годились. На дальнем рейде не бывает нового троса, бывает тот, что ещё не лопнул, и тот, что уже лопнул, и между ними одна смена работы. Я потом долго прокручивал в голове ту минуту, когда мы держали этот строп вдвоём, и не находил в ней ничего, что можно было бы сделать иначе. В том и дело, что ничего. Он просто дожил до своего волокна раньше, чем Тэйт дожил до своего года.

Я думал, что на корабле поднимется хоть что-то. Не горе, горя я не ждал, но хотя бы то оцепенение, которое бывает у людей, когда рядом умирает свой. Ничего этого не было. Холт пришёл, посмотрел, велел Чифу записать время, чтобы сходилось в судовом журнале, и ушёл к себе. Он смотрел на Тэйта недолго и без выражения, но я, стоя рядом, поймал в этом взгляде не равнодушие, а что-то похуже — узнавание. Так смотрят не на чужую смерть, а на свою, отложенную. Холт был немолод, и я думаю, что в ту секунду он видел под блоком не Тэйта, а себя через несколько лет, старую деталь, которую однажды тоже вычеркнут из журнала, чтобы сходилось. Он ушёл к себе быстрее, чем нужно, будто боялся, что кто-то прочтёт это на его лице.

Бёрк, который проработал с Тэйтом не один рейс, молча смотал уцелевший строп и заменил лопнувший, чтобы продолжить погрузку, потому что погрузку надо было продолжать, планета ждать не станет.

— Стоять нельзя, — сказал он, не мне, а вроде как воздуху, накидывая новый трос. — Каждый час стоим — деньги. Синдер по часам считает. Тэйту уже всё равно, а нам ещё грузить.

Он говорил жёстко, но руки у него чуть спешили, и я понял, что жёсткость эта не от бесчувствия, а оттого, что работой глушат то, чего не хотят чувствовать. Бёрк вообще всё в жизни мерил быстрыми деньгами, срезанным углом, тем, что можно взять сейчас и не платить потом. Для него и мёртвый Тэйт был прежде всего остановкой погрузки, потерянными кредитами, а горевать над потерянными кредитами он умел одним способом — грузить дальше и быстрее.

Рид вообще не вышел из рубки.

Чиф записал время, как велели. Потом достал из кармана свою флягу, ту, что таскал при себе весь рейс и берёт пуще воздуха, отвинтил, глотнул и подержал во рту, будто там было не то, что глотают, а то, чем полощут. Мне он не предложил, и правильно сделал — не тот был случай, чтоб делиться.

— Пятьдесят третий год мне, Скорев, — сказал он тихо, глядя не на меня и не на Тэйта, а на свои руки. — Я на движках с двадцати. Столько наших под такими блоками осталось — со счёту сбился. — Он завинтил флягу. — Мне бы своей смертью. Не под коробом и не в долгу у конторы. Помереть бы своим, а не ихним. Всего и прошу.

Он не сказал больше ничего, да и это сказал не мне, а так, себе под руку, как говорят вещь, которую носят давно и вслух произносят редко. Я запомнил. Я вообще в тот день запомнил много, сам не зная зачем.

Тэйт стал строкой в журнале раньше, чем остыл. Экипаж шесть единиц, вычеркнуть одну, осталось пять. Груз номер такой-то доставлен в неполном составе. Никто не считает.

Тело мы не повезли. Вozить мёртвых через полгода пустоты никто не станет, это стоит воздуха, места и денег, а мёртвый не приносит ни того, ни другого, ни третьего. Тэйта отдал Дампе вместе с грузом, на следующем заходе, спустили в ту же траншею, куда сбрасывали чужой мусор двух планет. Он лёг новым слоем поверх спрессованных жизней Хайва, неотличимый от них, потому что и был из них, дешёвая рука, поднятая с такого же мира, использованная и списанная. Я смотрел, как он уходит в траншею, и думал, что вот и вся разница между грузом и экипажем на этом корабле. Груз и экипаж кончают одинаково, в одной яме, только за груз конторе платят, а за экипаж вычитают. Мёртвый член экипажа дешевле мёртвого мусора. Мусор хотя бы довезли.

И ещё я думал, глядя, как его закрывает сверху чужой хлам, что зелёный снимок ушёл в траншею вместе с ним. Он ведь носил его на теле, в нагрудном, у самого сердца, и никто не полез бы за ним в мёртвый комбинезон перед спуском. Значит, лёг снимок в яму вместе с матерью на нём, с водой у края, с тем местом, куда он собирался вернуться через год с небольшим. Дом ушёл в Дамп раньше хозяина на два вдоха. А хозяин — следом. Только одно от Тэйта на Профите осталось наверху, не в яме. Но об этом я узнал ночью.

После Тэйта мне отдали его койку. Не из милости и не в утешение, а потому, что койка освободилась, а моя, у самой переборки грузового трюма, была хуже. Так я получил первое повышение за весь рейс — койку мёртвого. Она была на средний ярус, дальше от холодной стенки, и там не так слышно было, как оседает за сталью чужой мусор. Первую ночь на новом месте я не спал. Не оттого, что было жаль Тэйта, жаль мне его было ровно настолько, насколько бывает жаль человека, которого едва знал. А оттого, что под подушкой мёртвого я нашёл его тайник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.